

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

საქართველოს
ლიტერატურის
ინსტიტუტი



1978-6

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1978 6

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПОЭЗИЯ

ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ	3
НОДАР ДЖАЛАГОНИЯ	60

ПРОЗА

ГЕОРГИИ ЦИЦИШВИЛИ. Преображение. Повесть	30
ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ. Звезды, в лицо летающие. Повесть	65

ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕОРГИИ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Чистый ис- точник	11
ЭЛГУДЖА МАГРАДЗЕ. С думой о людях	23

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Ги-
ви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТ-
КИН, Исидор КОЗАЕВ, Ге-
оргий ЛОМИДЗЕ, Георгий
МАРГВЕЛАШВИЛИ, Вла-
димир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,
Гурам ХАРАИДЗЕ (заме-
ститель главного редактора),
Эммануил ФЕЙГИН, Георг-
ий ЦИЦИШВИЛИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ



„ლიტერატურნია გრუზია“

ქართველთა
წიგლისთავი

(რუსულ ენაზე)

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

გამოდის 1957 წლის ივნისიდან. № 6 ივნისი, 1978 წ.



К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ

სარგის ცაიშვილი. Поборник возрождения родного народа	109
გურამ კანკავა. Созвучность современности	114

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЭТЕРИ ГУГУШВИЛИ. «...И в любви, в беспокоействе, в тоске...»	134
ТАМАЗ ЧХЕНКЕЛИ. Сонеты Шекспира по-грузински	149

ОЧЕРК

ДЖЕМАЛ ДАВЛИАНИДЗЕ. В краю, где только романтики...	152
АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»	157
ХРОНИКА	159
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	160

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются



НАШ АДРЕС:

380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

ЭХО ТЕХ ДНЕЙ

Не затем прогремела «Аврора»,
чтобы только лишь помнить о ней,
все звучит средь земного простора
эхо этих раскатистых дней.

Уходя в бесконечные дали
и в душе не стихая у нас,
глас, которому толпы внимали,
раздается по свету сейчас.

Мы его различаем и ныне
в дальнем звоне строительных лет,
в грозном гуле победы в Берлине
и в космическом свисте ракет.

Мы внимаем, волненьем объята,
как звучит над планетой набат...
И громовые эти раскаты
в нашем сердце звучат и звучат.

СПАСЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ

Полыхала земля и дымила,
в этот день угнетенный восстал...
Первый день сотворения мира
днем последним для прошлого стал!..
Но он знал тогда,

бесповоротно
в мир вступив и ветров, и костров:
Ренессанса священные полотна,
драгоценны труды мастеров.
Да, обрушилось небо,

однако
мысль была у любого бойца:
надо вырвать из черного мрака
то, что скрыто под крышей дворца.
Да, пути нет на свете обратно —
и однако для будущих лет,
чтоб спасти от пожаров Рембрандта
издан был небывалый декрет.

Было сделано дело благое:
сквозь ночные костры и метель
сохранится и сумрачный Гойя,
и, веселый как день, Рафаэль.
Будут залы открыты свободно!..
В том декрете все видели знак,
что посмотрит на эти полотна,
сквозь счастливые слезы, бедняк.

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ РЕВОЛЮЦИИ

Я пред тобою благоговею.
Ты меня славой своею овей!
Я преклоняюсь пред жизнью твоею
и пред романтикой твоей.
Думаю я о тебе как о брате,
голову перед тобою склоняю..
Всем ты пожертвовал

некогда

ради

будущего и меня.
Руки были твои воздеты
к грядущему в этот далекий,
год.

Ты ведь решал судьбу
планеты

и начертал истории ход!

Ты озабочен ведь был
судьбою

тебя воспевших твоих
сынов.

Жизнь наша предрешена

тобою:

ты ведь — основа ее основ..

Перевод Евгения ВИНОКУРОВА

ПЕСНЬ О РУСТАВИ

I

Мне стали чужды чащи и высоты,
И по теченью мчащейся охоты
В степь выхожу из царства темных гор.
Здесь не было ни кустика доселе.
Но погляди: какое новоселье

И лирики
Эпический простор!
На пустоши хочу разбить палатку,
Стихотворенья сокол рвет перчатку,
И древний город к тверди голубой
Вознес руины каменное тело.
И мы прославим пламень Сакартвело
И мастеров с обугленной судьбой,
Отмеченных избраньем с колыбели,
Что сталь ковали и в огне горели.
Их предок был первокузнец, халиб,
Все погасил потоп врагов кровавый,
Но вновь очаг грузинский блещет славой
Грохочущих
Сталелитейных глыб.

II

Вот — кузница и колыбель булата,
Он тянется, течет продолговато.
Герой Тобели¹ смотрит на огонь.
И языков разрозненные речи
Вливаются в бурлящий гомон печи,
Звенят клинки и звенья гибких бронь.
По звуку проверяется закалка,
Запела сабля — и труда не жалко,
Сталь ненадежна, ежели глуха...
И ходит под свистящий гул распева
Утроба огнедышащего дэва —
Усталые кузнечные меха.

III

Где вы теперь?
Клинок умолкло эхо...
И лопнул дэв, сломалась челюсть меха;
И только снится молота удар.
Где кузнецы?
Ни вести, ни гробницы...
Угас на углях пламень светлолицый,
Тысячелетий стелется угар.
Одно железо живо.
Мне обидно,
Что только меч остался серповидный...
Но память не истлеет никогда!
Чернеют вашей кузницы руины,
Но вечно будут плавить сталь грузины,
Идет проката
Шумная вода.

¹ Тобели (Тубал) — библейский прародитель кузнецов.

IV

Чтобы отнять нетленное у Леты,
Мы воспоем, грузинские поэты,
Судьбу того, кто в горестных веках
Жил, торжества такого не изведав..
Прославим и героев, и поэтов,
Певцов, ушедших с песней на устах.
Кто предан был, пленен, обезоружен,
Но вынес к свету пригоршни жемчужин —
Прекрасные и скорбные слова.
Всех горевавших о судьбе отчизны,
Не выбравших себе другой отчизны,
И Грузия их мужеством жива.
И, как пророки над водой Евфрата,
Поэты Картли пели.
И утрата
Была невозполнима.
Благодать
Вовеки невозвратна.
Поколенья
То грезили зарею искупленья,
То не могли о прошлом не рыдать.
Они бы песни радости слагали,
Увидев на рассвете эти дали,
Строительные шумные леса.
Но ветер выл над выломанным горном.
Так пусть о прошлом, проклятом и черном,
Споют и вспомнят наши голоса!
Споем о тех, кем годы бед воспеты..
Как вы мечтали, старые поэты,
Чтоб ожил город незабвенных дней,
И песня воскрешенная гремела!..
Прославим поселенья Сакартвело,
Все поколенья певших Сакартвело!..

...В степи, где мчался гневный .суховец,
Где стали стены прахом, где остыло
Далеких предков бедное горнило,
Здесь новый город Голиафом встал,
Одетым в латы гордым исполином.
И молоты стучат.
Могучим клином
Проносится стремительный металл.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЦЕРКОВНОМ ПРАЗДНИКЕ

Они поднимаются в гору.
Зонты,
Пестрея, рассыпались по крутосклону.
Ждет чудо
на гребне его высоты,
И надо увидеть святыню, икону.

Устали. Так душно. Шаги тяжелы.
Но отступа нет...
Стали выше вершины,
Из сил выбиваются даже волы,
И давят на плечи большие хурджины.

Как полямя, красные пышут шатры,
Шагают одетые в красное дети.
Все матери, жены, невестки на свете
Идут босиком по уступам горы.
Козлята играют. Звонят бубенцы,
И овцы, раскачивая сосцы,
Идут по горячему, пыльному следу,
И шумные куры заводят беседу.

Но кто бы смекнул, прокудахтал полслова:
«Ведь завтра не будет из нас никого!».
Идут,
все идут...

Впереди — торжество,
Дорога еще далека и сурова.

Козлята и овцы — в крутом багреце.
Их выкрасивший в эту охру, блажен ты!..
Вы встретитесь там, на вершине, в конце,
Молящиеся и приносящие жертвы!

А там — над горою — еще высота.
Вот, кажется, неба открылись врата!
Идут,
все идут.. Застывает мгновенье.
Как жарко. Моление о дуновеньи...

И море людское волною наклонной
Припало к святыне
и моет кресты.
...Но мне никакой не хотелось иконы.
И в сердце моем и в глазах —
беззаконный
Едиственный лик...

Это ты.
Только ты.

В СТАРОМ ХРАМЕ

Мох. Камни запустенья. Осыпь скуки.
Глуха бойница, и тяжел засов.
Мышей летучих, ухающих сов
И ласточек пронзительные звуки.



И стерся с фрески меч, и, корчась в муке,
Исчез дракон. Где огненная пасть?
И времени здесь утвердилась власть,
Дождя и ветра потрудились руки.

И в рубище — тень мастера. Она
Потопом пустоты изумлена.
Где красок блеск? О, времени причуды!

И только — призрак темного креста,
Три тонких ускользящих перста,
Где сребреники бледные Иуды.

В АТЕНИ¹

Я не оставлю два Атени,
Здесь я увидел молодым
Зарю — и персика цветенье,
Туман — и яблоневый дым.

Садов атенских не покину,
Когда бушует цветопад,
И крылья бабочек в долину,
Как пепел с пламенем, летят...

Твое крыло легко и хрупко,
И солнцем полон небосклон.
Слетела с росписи голубка,
Я — соколом — тебе вдгон.

Свет, ослепительный и резкий,
Колышет душу, как прибой.
И в мир твоей волшебной фрески
Я пролетаю за тобой.

И не коснется нас утрата,
Когда взойдет над гребнем лет
И кипень яблонь — дым заката,
И утра персиковый цвет.

¹ Атени — название двух соседних сел в Горийском районе Грузии.

СЕРЬГА

«О, серьга, пробуждающая страсть»
Н. Бараташвили.



О, серьга, драгоценное диво,
Ты уже не вспорхнешь, мотылек!
И земля над тобой молчалива,
Где надгробия камень прилег.

Тают яхонты, меркнут рубины,
Образ крохотный, блеску с резьбой,
Темноты поглотили глубины,
Гиацинт разлучился с тобой.

И, немея под каменной твердью,
Ты не веришь, что явится тот,
Кто игру твою отдал бессмертью,
И устами тебя шевельнет.

ДЕДУШКА И МАЛЕНЬКАЯ ВНУЧКА

Чтоб скорбить нас не в силах были годы,
Снисходит благодать по временам,
И провиденье или власть природы
В дни старости даруют внуков нам.
Воспоминаний забывая груду,
Вернувшись в детство столько лет спустя,
Немыслимо не удивиться чуду —
Тому, как мир исследует дитя...
Побег зеленый нежен, свеж и тонок,
Что — древу потрясенному милей?!
И жизнь ребенка жметя, как мышонок,
Согревшись у заржавленных корней.

И нет, как видно, у детей досуга.
Пусть — утро или вечер, все равно —
Пространство разбежавшегося круга
Загадками всегда начинено.
Мысль родилась, и не прервать работы,
Ты копишь впечатления свои,
И, словно пчелы медом полнят соты,
Ложатся гибкой памяти слои.

Чуть сдвинешься и выпрямишь колени...
Куда идти? Сама ты не поймешь.
Но первый шаг... Он — всем на удивленье,
На первый выход в космос он похож.
Пройти вдоль стен от стула до дивана
Совсем не то, что через реку вброд,

Пути Колумба или Магеллана
Куда труднее этот переход!



Так тянется трава к лучам светила,
Со дня творенья снова и опять —
Все то, что человечество открыло,
Приходится ребенку открывать.
Уже владея мирозданием целым,
Какой-то поиск продолжает он,
И каждым жестом, каждым словом, делом
Весь путь и подвиг рода повторен.

На внучку дед глядит... Пусть мысль — под
спудом,

Но путеводна ощущенья нить,
И кажется познание высшим чудом,
О, если б этот миг остановить!
И ласточек услышать сердце радо,
И на плечах бы горы перенес,
Лишь бы глядеть на внучку, вот — награда
За годы боли и обид, и слез.

МАЛЬЧИК СМОТРИТ НА ГОРЫ

Маленький мальчик глядит на высокие горы,
На озаренные утренним солнцем вершины.
Страх высоты незнаком одинокому сердцу,
Ибо еще не изведена горечь паденья.
Пухом пока не покрылись проросшие крылья,
Но от земли оторваться он хочет скорее,
Чтобы над горами гор снеговых полететь.
Мальчик не видит конца этой долгой дороги,
Разве он знает, где резкий подъем оборвется,
Где скакуном одичалым
Бросается спуск

прямо в пропасть?

Крылья сложивши,
Махнув равнодушно рукою,
Через полвека он сходит по этому спуску,
Тот, кто когда-то ногами отталкивал землю,
В небо взмывая,
Чтоб сверстников опередить,
Раньше других
След оставить на девственном снеге
Кручи, никем еще не покоренной досель.
Маленький мальчик глядит на высокие горы.
Как же не быть ему в это мгновенье счастливым,
Если не видит он спуска за мощным подъемом,
Будущего своего, что в ущелье спускается тихо.
Маленький мальчик глядит на высокие горы.

—Перевод— Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ

ЧИСТЫЙ ИСТОЧНИК

«Малую землю» Леонида Ильича Брежнева советский народ сразу же воспринял и по праву оценил, как чистый источник духовного и практического, боевого и трудового, гражданского и просто человеческого опыта. Право на такую оценку было обеспечено самой личностью автора, который каждую строку своих записок, задолго до того, как они легли на бумагу, пережил лично, воплотил своей жизнью, всем своим существом и каждый раз там, где эта жизнь была более всего нужна и где ей угрожала наибольшая опасность. Мы хорошо помним, как еще 7 сентября 1974 года, при вручении городугерою Новороссийску ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», Леонид Ильич про-

цитировал стихи из поэмы «Хорошо» Маяковского: «...землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя». Он, конечно, с полным основанием мог продолжить эти строки, имея в виду себя и своих фронтовых товарищей:

...землю,
 которую
 завоевал
и полуживую
 вынырчил,
где с пулей встань,
 с винтовкой ложись,
где каплей льешься с
 массами —
с такой землю
 пойдешь
 на жизнь,
на труд,
 на праздник
 и на смерть!

И он шел и на труд, и на праздник, и на жизнь, и на смерть. Ведь с первого и до последнего дня Великой Отечественной войны Леонид Ильич Брежнев был на линии фронта, на линии огня, пройдя весь исторический путь Советской Армии и советского народа от памятного трагического рассвета 22 июня 1941 года до победных залпов 9 мая 1945-го. **А из этих тысяча четырехсот семнадцать** огненных дней и ночей — **двадцать пять** были связаны с легендарной Малой землей. И записки Леонида Ильича — замечательный пример того, как поистине в малом отражается великое. Ведь он так и начинает свои воспоминания:

«Сегодня мне хочется рассказать о сравнительно небольшом участке войны, который солдаты и моряки называли Малой землей. Она действительно малая — меньше тридцати квадратных километров. И она великая, как может стать великой даже пядь земли, когда она полита кровью беззаветных героев».

И далее Леонид Ильич так говорит о нравственном человеческом опыте бессмертного подвига малоземельцев:

«Бывает, попадает человек в такие обстоятельства, когда за год увидит, узнает, почувствует столько, чего в иное время не вместит и целая жизнь. Насыщенность событий на этом плацдарме была так велика, а бои столь жестоки и непрерывны, что, казалось, шли они не 225 дней, а целую вечность. И это все мы пережили».

Среди больших и малых художественных произведений, упоминаемых Леонидом Ильичом в «Малой земле», особый смысл имеет упоминание «Войны и мира» Толстого. Поведая о подвиге парторга Салахутдина Валиулина, прикрывшего своим телом окно подвала, откуда бил фашистский пулемет, Леонид Ильич объясняет саму природу такого подвига:

«Подписывая на него наградной лист, думал о природе таких подвигов. Бесспорно человек знал, что идет на верную смерть. Но вряд ли говорил себе в этот момент: «Сейчас совершу подвиг». Нет, эта храбрость была не картинно-героическая, а немногословная, неброская, я бы даже сказал, скромная, какую особенно ценил, судя по роману «Война и мир», Л. Н. Толстой. И подвиг был в толстовском понимании этого слова: человек делает то, что должен он делать, несмотря ни на что. Конечно, чувство страха перед смертью свойственно людям, это естественно. Но решение в критическую минуту приходило как бы само собой, подготовленное всей предыдущей жизнью. Значит, есть какой-то рубец, какой-то миг, когда у воина-патриота сознание своего долга перед Родиной заглушает и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчетное это действие — подвиг, а убежденность в правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдает свою жизнь».

Какая точная, мудрая и человеческая формула геро-

изма дана в этом рассуждении! И какой могучий союзник найден в этих раздумьях — Лев Толстой! Мне хочется вспомнить, что чудесный советский писатель Константин Федин, приступая к роману о Великой Отечественной войне и в этой связи характеризуя главный прием толстовского письма, указывал на «испытание нравственной ценности героя у решающей черты жизни и смерти» и на то, что «прием этот вытекает из главной темы Толстого — из темы о смысле, о содержании жизни».

Кстати, великий писатель земли русской незримо присутствует во всем точном, на редкость пластичном и безыскусственно — напряженном по ритму и духу повествовании Леонида Ильича.

Вот такое испытание нравственной ценности у решающей черты жизни и смерти и выдержали малоземельцы, о которых нам рассказал Леонид Ильич Брежнев. И как бы скромно и немногословенно был Леонид Ильич, говоря о себе, из самих фактов, событий и ситуаций, им поведаанных, именно такой героической личностью встает перед нами он сам — начальник политотдела легендарной 18-й армии, друг и собрат командарма Леселидзе, непосредственный и прямой участник и, воистину, душа бессмертного подвига малоземельцев.

И тут следует вспомнить не только те случаи, когда Леонид Ильич в критическую минуту проявлял личный солдатский героизм, рискуя жизнью и лишь чудом избежав гибели, как это было при

взрыве сейнера, напоровшегося при переправе на мину, или когда взрывной волной убило Лукина, который рядом с Брежневым, Леселидзе и Зарелуа прилег недалеко от взятого у врага блиндажа; или в Новороссийске, только что освобожденном от врага, когда Леонид Ильич первым вступил на явно заминированное поле, а члену Военного совета армии Колонину твердо сказал — «я должен на два шага идти вперед!». Или вот уже позже, при решающих боях на шоссе Житомир—Киев, когда Леонид Ильич мгновенно заменил убитого пулеметчика, что помогло удержать рубеж до подхода вспомогательных сил и тем самым решило исход боя.

Таких ситуаций — «на шаг» или «за секунду» от гибели выпадало на долю Леонида Ильича немало. Недаром было подсчитано, что одних бомб и снарядов, не говоря уж об автоматнопулеметном огне, на каждого малоземельца приходилось по 1.250 килограммов. Рассказав об этом, Леонид Ильич со скромным юмором добавляет — «так что на мою долю из тех килограммов смертоносного металла тоже кое-что предназначалось». Да, поистине немногие из государственных руководителей нашего века могли бы занести в свои послужные списки такое и сказать о себе то, что Леонид Ильич имел бы право сказать о себе, хотя сказал он это о своих товарищах, вступавших в партию перед смертным боем:

«Какие льготы мог получить человек, какие права

могла предоставить ему партия накануне смертельной схватки? Только одну привилегию, только одно право, только одну обязанность — первым подняться в атаку, первым рвануться навстречу огню». И конечно, о самом Леониде Ильиче можно сказать то, что он сказал о политработниках армии:

«Люди знали: в трудный момент тот, кто призывает их встать, будет рядом с ними, останется вместе с ними, пойдет с оружием в руках впереди них. Стало быть, главным нашим оружием было страстное партийное слово, подкрепленное делом — личным примером в бою. Вот почему политические работники стали душой Вооруженных Сил».

Но не меньше героизма было в том каждодневном и еженощном подвижничестве фронтовых будней, из чего складывались для Леонида Ильича и те 225 огненных дней и ночей Малой земли и все 1.418 — Великой Отечественной.

Одна из граней такой подвижнической природы — это стремление и умение без ложной скромности, но именно с неброской решимостью оставаться в тени, когда этого требуют безошибочно угаданные интересы дела и его обстоятельства. Именно эту черту личности Леонида Ильича отражает, скажем, такое признание из его записок:

«Я благодарен Центральному Комитету нашей партии за то, что одобрено было мое стремление быть в действующей армии с первых дней войны. Благодарен за то, что в 1943 году, когда

часть нашей территории была освобождена, посылался с просьбой — не отзывать меня в числе партийных работников-фронтовиков, направляемых на руководящую работу в тыл. Благодарен и за то, что в 1944 году была удовлетворена просьба не назначать на более высокий пост, который отдалил бы меня от непосредственных боевых действий, а оставить до конца войны в 18-й десантной армии. Мной руководило одно чувство — защищать нашу землю, бить врага везде и повсюду, дойти до конца, до полной победы. Только так можно было вернуть мир на земле. С 18-й армией связана моя фронтовая жизнь, и она навсегда сделалась для меня родной. В рядах 18-й я сражался в горах Кавказа в момент, когда там решались судьбы Родины, воевал на полях Украины, одолевал Карпатские хребты, участвовал в освобождении Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. С этой армией был и на Малой земле, роль которой в освобождении Новороссийска и всего Таманского полуострова значительна».

Вот еще один из конкретных примеров стремления и, я бы сказал, таланта Леонида Ильича быть там, где он особенно нужен. Вылетевший в штаб Северо-Кавказского фронта во главе представителей Ставки маршал Г. К. Жуков высказал желание поговорить с Леонидом Ильичом Брежневым, который находился в тот момент на Малой земле. Это, как уточнил для себя Леонид Ильич, был не приказ, а именно желание повидаться и погово-

рять. И вот, полностью надеясь на то, что командарм Леселидзе и член Военного совета Колонин доложат маршалу обо всем, в том числе и о срочной необходимости изменить соотношение сил в воздухе над Малой землей, Леонид Ильич принимает решение, как он пишет, «в тяжелый момент не покидать плацдарм».

В этом же ряду «неброских решений» стоит случай, о котором рассказал в недавней беседе, напечатанной в «Неделе», адъютант Леонида Ильича Иван Павлович Кравчук:

«Вот Леонид Ильич пишет в «Малой земле», что нас перебросили из Тамани под Киев. Я понимаю: то, о чем я сейчас хочу рассказать, ему самому было писать неудобно. А я скажу. Командующий армией предложил начальнику политотдела ехать в своем вагоне, а Леонид Ильич вежливо отказался и сел вместе с солдатами. И таких фактов из фронтовой жизни Леонида Ильича Брежнева не счесть», — добавляет Кравчук.

В записках Леонида Ильича Брежнева есть эпизод, который предшествует уже упомянутому нами случаю, когда Леонид Ильич заменил убитого пулеметчика. Стоило Леониду Ильичу в этот критический миг появиться на линии огня, тот же адъютант Кравчук, чтобы поднять дух бойцов, стал выкрикивать: «Это комиссар, начальник политотдела!». Рассказав об этом, Леонид Ильич заключает:

«Уже давно не существовал в нашей армии институт комиссаров, давно не слыша-

ли в войсках и самого слова комиссар, но Кравчуку в тот момент показалось наиболее подходящим».

Здесь уловлен удивительный и мудрый смысл этого, быть может, невольно вырвавшегося у адъютанта слова — комиссар. Оно как бы олицетворяло преемственность двух поколений, которым выпала родственная по духу судьба: ведь поколение коммунистов, закалившихся или особо проявивших себя в годы Великой Отечественной войны, можно сравнить именно с поколением коммунистов, закалившихся в битвах революции и гражданской войны. И это, наверное, было высшей данью уважения, которую можно было отдать начальнику политотдела армии в тот миг. Душевная благодарность за это доверие и чувствуется в рассказе самого Леонида Ильича.

И тут, говоря об этой чудесной преемственности, следует особо подчеркнуть ленинский дух и ленинский стиль, которыми отмечены самые мудрые, самые благородные, самые чистые и самые верные, безошибочные движения души, мысли, порывы, поступки и действия описанных Леонидом Ильичом замечательных людей и, конечно же, его самого, Леонида Ильича Брежнева, — воистину большевистского комиссара, начальника политотдела армии. И не случайно поэтому, что имя и опыт Ленина прямо упоминаются в записках Леонида Ильича как раз в подтверждение и обоснование самых главных и сокровенных выводов из опыта великой ле-

тописи всенародного подвига. Так, например, описав два потрясающих по силе и смыслу случая, когда бойцы — один после ранения, а другой — будучи смертельно раненным — просились обратно на линию фронта именно в свои части, обязательно в свои части, с которыми они сжились и сроднились, Леонид Ильич делает такой вывод:

«Снова и снова убеждаешься, как прав был В. И. Ленин, указывая на огромное значение связи с массами, общения с рабочими, крестьянами, солдатами... Сколько серьезных, масштабных выводов было сделано в результате встреч и бесед с бойцами на привале, на отдыхе, на боевых позициях. Так было и после той встречи в госпитале и случайной беседы с солдатом на Сухумском шоссе. Я, конечно, сдержал данное обещание. Но, кроме того, было принято решение: после выписки из госпиталей по мере возможности посылать людей в свои части».

А вот, рассказав о разработанной им «памятке десантнику», которая, по его словам, «сослужила добрую службу», Леонид Ильич считает нужным подчеркнуть, что идею памятки он «заимствовал у бойцов Южного фронта времен гражданской войны, которой в то время очень интересовался и подчеркнул особо важные места В. И. Ленин». И Леонид Ильич добавляет: «Впрочем, рядом ее положений, на которые обратил особое внимание Владимир Ильич, мы пользовались во всей партийно-политической работе.

Вот для примера строчки из памятки:

«Товарищ коммунист, Ты должен в бой вступить первым, а выходить из боя последним. Ты призван на фронт воспитывать красноармейскую массу. Но во всякую минуту ты должен уметь взять в руки винтовку и личным примером показать, что коммунист умеет не только благородно жить, но и достойно умереть!»

Имя Ленина, дух Ленина осеняли и благородную жизнь, и достойную смерть участников Великой Отечественной войны. А как глобоко переживалась на фронте смерть товарищей по оружию, можно увидеть хотя бы на тех страницах записок Леонида Ильича, где говорится о гибели начальника политотдела 83-й морской бригады К. Лукина и о смерти горячо любимого командарма К. Леселидзе. Мы помним, что Лукина, который был тогда рядом с Леонидом Ильичом, Леселидзе и Зарелуа, убило воздушной волной от взрыва, которая в равной мере могла поразить каждого из них. Леонид Ильич вспоминает:

«Когда грохот взрывов кончился, мы встали. Я позвал товарища: — Лукин! Лукин!.. Молчит. Подошли — он мертвый. Ни одной царапины, ничего. Убило воздушной волной.

**Неправда, друг не умирает.
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет...**

Хорошо сказал поэт. Разумом я все понимал: идет сражение и жертвы неизбежны.

ны. Но сердце не слушалось, щемило нестерпимой болью. Сам я писал письма вдовам, моя горсть земли лежит в могилах товарищей, огонь моего автомата звучал в залпе траурного салюта. Верные сыны партии, ее именем они звали бойцов на смертный бой. Призывали во имя Родины не щадить жизни. И в бою они первыми совершали то, к чему звали других, увлекая за собой бойцов. Они до конца выполнили ленинский наказ — личным примером доказали, что коммунист умеет не только благородно жить, но и достойно умереть».

А вот уже не воздушная волна, а тяжелая болезнь сразила командарма 18-й армии. С неутрахающей за десятилетия болью пишет об этом Леонид Ильич:

«11 февраля 1944 года был для меня горьким днем. Я отправлял в Москву тяжелого командарма. Медики сказали: надежд немного. Спустя десять дней Константин Николаевич Леселидзе умер.

На фронте людей узнаешь очень быстро, там сразу видно, кто чего стоит, Леселидзе был одним из талантливых полководцев, олицетворявших лучшие черты советского человека. Суровый и беспощадный к врагам, добрый и мягкий с друзьями, человек чести, человек слова, человек острого ума, жизнелюбивый и храбрый — таким остался в памяти моей боевой друг и соратник Константин Леселидзе».

И конечно, Леонид Ильич мог бы и здесь повторить

вспомнившиеся ему строки из человеческого и мужественного стихотворения Константина Симонова «неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестает»; он мог и продолжить дальше —

**Но все, что между вами было,
Все, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься вместе не смогло.**

**Упрямство, гнев его,
терпенье —
Ты все себе в наследство
взял,
Двойного слуха ты и зренья
Пожизненным владельцем
стал.**

Леонид Ильич чрезвычайно высоко ценил командарма Леселидзе — и как человека, и как полководца. Достаточно, к примеру, вспомнить, как описано в записках предложенное командармом решение о взятии Новороссийска — как ключа к взятию Тамани и Крыма. А когда этот исторический штурм начался, по словам Леонида Ильича, «с величественным спокойствием и твердостью руководил сражением талантливый командарм. В ходе боя оперативно перегруппировывал части, вводил резервы, перебрасывал подкрепления туда, где создавалась угроза». А как он умел прислушиваться к мнению товарищей! Леонид Ильич пишет и об этом: «Я, например, не помню случая, чтобы генерал Леселидзе или другие командующие армиями, с которыми пришлось мне воевать, не учли моей точки зрения или поправок, порой весьма существенных».

Так на многих страницах записок Леонида Ильича встречаем мы точными штрихами обрисованную фигуру командира легендарной 18-й армии. И мы с гордостью за весь советский народ, с гордостью и за грузинский народ можем вспомнить, что те черты личности Константина Леселидзе, которые Леонид Ильич в своих записках назвал «олицетворением лучших черт советского человека», за семь лет до этого, на торжественном заседании в Тбилисти, посвященном 50-летию Грузинской ССР и Коммунистической партии Грузии, он с полным основанием назвал и «олицетворением лучших национальных черт грузинского народа».

Сколько мудрого исторического смысла в этой двуединой оценке, которая на одном благородном и прекрасном примере показывает, что олицетворять лучшие черты советского человека в нашу эпоху и означает быть истинным сыном своего народа; и что, согласно этой же высокой диалектике, олицетворять лучшие черты породившего тебя народа — это и значит быть истинно советским человеком!

И тут нельзя не выделить и не подчеркнуть особо тот дух воинственно ленинского интернационализма и социалистического гуманизма, которыми пронизаны записки Леонида Ильича Брежнева и которым дышит буквально каждая строчка этой уникальной летописи народного подвига.

С какой дружеской теплотой, с каким уважением, а порою восхищением говорит

Леонид Ильич о многонациональной, сплоченной солдатской дружбой и боевым братством семье участников Великой Отечественной войны — от простого солдата до генерала. Какие истинно прекрасные образы советских людей встают перед нами, увековеченные в записках Леонида Ильича. И какая гамма настроений и состояний — в зависимости от ситуации и обстановки — сменяет одна другую! Тут и высокая патетика, и острый юмор, тут и сдержанно-точная фиксация событий или поступка, тут и меткая краткая характеристика человека, и общая оценка, ярко и образно воспроизведенная. Тут и нестерпимая боль, и горечь, и радость, и гордость, и уважение, и восхищение, и светлый юмор, и разящий смех. Мы уже вспоминали о подвиге Салахутдина Валлиulina, описанном Леонидом Ильичом. А вот — десантник Шалва Татарашвили, которому в день его двадцатитрехлетия неразлучный друг Петр Верещагин подарил 23 патрона из своего диска! Вот начальник политотдела бригады Дорощев, насчитавший в бригаде пятнадцать депутатов городских, районных и сельских Советов, созвавший сессию и по ее решению соорудивший отличную баньку! Вот безымянный парень, доставивший на Малую землю корову, которая и молоко давала, и, главное, приносила людям радость! Вот художник Борис Пророков, которому умелый и лихой начальник политотдела морской пехоты Михаил Видов ко дню именин фюрера поручил сделать его карика-

турное изображение на полотнище, выставленном на показ фашистам; а те долго не решались стрелять в это «свиноподобное чудовище» — все-таки ведь фюрер! А вот сержант-агитатор, смеющийся бойцов: «Гитлер, мол, хвастался, что сегодня сбросит нас в море. Нашей украинской байкой я сказал, чего он добился. Пошел на охоту, убил медведя, ободрал лисицу, принес домой зайца, мать зарезала утку и сварила кисель. Попробовал, а он горький...». Вот бывший лектором-пропагандистом обаятельнейший майор А. А. Арзуманян, обладавший не только обширным кругозором, но и хорошим чувством юмора, который лишним никогда не бывает. Уже тогда было видно, что человек этот незаурядный. И меня не удивило, а обрадовало, — добавляет Леонид Ильич, — когда после войны узнал, что Арзуманян стал академиком, а затем и членом президиума Академии наук СССР¹. А вот четкая и выразительная характеристика одного из заместителей Леонида Ильича, начальника отделения пропаганды и агитации С. С. Пахомова: «Спокойный в любой обстановке, на первый взгляд даже медлительный, он превращался в ступор энергии, проявляя решительность, когда это было нужно для дела. Он умел найти то единственное слово, которое именно в данный момент больше всего нужно бойцу». Одна из вдохновенных и восхищающих страниц записок Леонида Ильича отведена чудесной девушке Марии Педенко — подвижнице в бою и одному из лучших агитато-

ров Малой земли в минуты затишья. Поведав нам о ней в своих записках, Леонид Ильич заключает: «Как и многие из героев, Мария не дожидая до наших дней. Вспоминая этого прекрасного человека, я думаю о многих других дочерях нашей Родины, разделявших с мужчинами все тяготы войны. Для меня их образ стал олицетворением величия советской женщины».

Одну из главок своих записок, примерно в середине повествования, Леонид Ильич начинает так:

«Надо полагать, читатель ждет от меня рассказа о партийно-политической работе, но, в сущности, именно о ней я давно уже веду речь. Потому что стойкость воинов Малой земли была итогом этой работы».

И действительно, вопросы партийно-политической работы в книге Леонида Ильича существуют не как отвлеченные истины и сформулированные принципы и приемы, а как живая жизнь, как живая и талантливая деятельность замечательного человека, убежденного коммуниста, беззаветного патриота и интернационалиста, истинного гуманиста, для которого превыше всего сам человек — его живая душа, его запросы, нужды и потребности. Разве лишь в этом смысле, в этом свете можно было бы привести еще некоторые выдержки из «Малой земли», звучащие, одновременно, и как откровенная исповедь, и как убежденная проповедь, как мудрый дружеский наказ всем нам сегодня и нашим грядущим nasledникам. И хоть в книге

Леонида Ильича речь идет о войне, принципы человечности, гражданственности, устойчивой высокой нравственности, в ней заложенные, одинаково действенны в любых условиях прошлого, настоящего и будущего.

Вслушаемся в этом штабном смысле хоть в некоторые еще, кроме уже приведенных, высказывания и раздумья Леонида Ильича. Вот одно из них:

«На войне не все идет по плану. Часто бои разворачиваются не совсем так, а иногда и совсем не так, как рисовалось на штабных картах. И тогда поистине бесценны становятся отвага, преданность, инициатива каждого командира и политработника, каждого солдата и матроса».

Разве трудно представить такую ситуацию в мирной деятельности командиров производства и героев труда? А разве не бесценны и для мирной обстановки, для условий трудовой и творческой страды такие раздумья Леонида Ильича:

«Тут не громкие речи были нужны, да и залов не было для речей, а откровенный, мужской и, я бы сказал, душевный разговор... Обычно мне удавалось найти с солдатами и матросами общий язык, хотя каких-либо особых приемов я для этого не применял. Шла ли речь о серьезных делах или шуточная была беседа, старался вести себя просто, ровно. И говорил всегда правду, как бы ни была она горька».

Но послушайте дальше — ведь простота простоте рознь, недаром говорится, что простота хуже воровства. И Ле-

онид Ильич тут же добавляет:

«Замечу, что встречались среди офицеров такие, которые старались изобразить из себя этакого рубаху-парня. Бойцы, конечно, сразу чувствуют фальшь нарочитого панибратства, и тогда уж откровенности от них не жди».

И наконец, вот такое глубоко человеческое раздумье-предупреждение, универсальное для любой ситуации:

«...Работа должна вестись с умом и тактом. Если даже человек ошибся, никто не вправе оскорбить его окриком. Мне глубоко отвратительна, пусть не распространенная, но еще кое у кого сохранившаяся привычка повышать голос на людей. Ни хозяйственный, ни партийный руководитель не должен забывать, что его подчиненные — это подчиненные только по службе, что служат они не директору или заведующему, а делу партии и государству. И в этом отношении все равны. Те, кто позволяет себе отступать от этой незыблемой для нашего строя истины, безнадежно компрометируют себя, роняют свой авторитет...».

Такие доходящие до глубины сердца и души раздумья и советы буквально рассыпаны по страницам книги Леонида Ильича. Все мы много раз будем их читать и перечитывать. Но так как книга Леонида Ильича, помимо всего, еще и художественный документ эпохи, ибо поэзия и правда этой книги — поистине захватывающая поэзия и правда, а ее строго документальная проза — на редкость пластична и выразительна, динамична

и экспрессивна в одних случаях и благородно сдержанна и степенно-раздумчива в других, то хотелось бы обратить внимание на то, какое большое место уделено в «Малой земле» опыту литературы и искусства, начиная с великого толстовского опыта и кончая опытом замечательных советских мастеров разных поколений, будь то Сергей Эйзенштейн с его «Броненосцем Потемкиным» или Константин Симонов с его стихотворным посвящением Евгению Петрову или же такие прозаики и поэты, как Борис Горбатов и Павел Коган, погибший под Новороссийском незадолго до десанта на Малой земле. Писатель и журналист Борис Галанов в своем отклике на «Малую землю» Леонида Ильича вспоминает и о стихах Сергея Есенина, которые читал наизусть своим фронтовым товарищам Леонид Ильич. Наши же грузинские товарищи с гордостью всматриваются теперь в старую фотографию, где на Северо-Кавказском фронте, рядом с Леонидом Ильичом Брежневым и Константином Леселидзе запечатлены Георгий Леонидзе и Симон Чиковани, Акакий Хорава и Уча Джапаридзе. А сколько ярких фактов содружества деятелей грузинской литературы и искусства с бойцами и командирами Советской Армии в дни великой битвы за Кавказ приведено в богатой по материалу книге нашего опытного журналиста, участника и очевидца этой битвы Михаила Давиташвили «Леселидзе», где ярким светом высвечена деятельность само-

го Леонида Ильича Брежнев

ва.

Эту тему взаимоотношений жизни и искусства можно было бы завершить здесь словами самого Леонида Ильича, произнесенными им с высокой трибуны XXV съезда КПСС:

«Вместе с героями романов, повестей, фильмов, спектаклей участники войны как бы снова проходят по горячему следу фронтовых дорог, еще и еще раз преклоняясь перед силой духа живых и мертвых своих соратников. А молодое поколение чудодейством искусства становится сопричастным к подвигу его отцов или тех совсем юных девчат, для которых такие зори стали часом их бессмертия во имя свободы Родины. Таково подлинное искусство. Воссоздавая прошлое, оно воспитывает советского патриота, интернационалиста».

Таково и подлинное искусство, с которым написана, создана книга Леонида Ильича «Малая земля».

И в этой чудесной книге воплощена еще одна задача задач или сверхзадача, как говорят мастера искусства. Это идея мира, выстраданная в огненных днях и ночах войны. И никто об этом не скажет лучше, чем это сказано и выражено самим Леонидом Ильичом в заключительных строках его записок, которые хочется привести здесь полностью:

«Наша победа — это высокий рубеж в истории человечества. Она показала величие нашей социалистической Родины, показала все-силе коммунистических

идей, дала изумительные образцы самоотверженности и героизма — это все доподлинно так. Но пусть будет мир, потому что он очень нужен советским людям, да и всем честным людям земли.

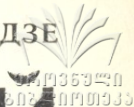
До последнего дня мы хоронили верных товарищей, на всем пути видели следы фашистских зверств, встречали плачущих матерей, безутешных вдов, голодных сирот. И если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил: быть ее больше не должно. Быть войны не должно никогда.

Счастлив политик, счастлив государственный деятель, когда может всегда говорить то, что он действи-

тельно думает, делать то, что он действительно считает необходимым, добиваться того, во что он действительно верит. Когда мы выдвигали Программу мира, выступали на многих международных встречах с инициативами, направленными на устранение угрозы войны, то я делал то, добивался того, говорил о том, во что как коммунист глубоко и до конца верю.

Это, пожалуй, и есть главный вывод, который вынес я из опыта великой войны».

И это, по-видимому, один из самых главных выводов, вытекающих из книги Леонида Ильича Брежнева, историческое, духовное и практическое значение которой невозможно переоценить.



С ДУМОЙ О ЛЮДЯХ

Выход в свет мемуаров Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Возрождение» — явление неизмеримо большого общественно-политического значения в жизни нашей страны. Эти книги вызвали огромнейший интерес сотен миллионов людей в нашей стране и за ее пределами.

Мемуары, всколыхнувшие всех нас, отображают поразительное мужество народа, его нестигаемую силу духа, подлинный и массовый героизм. Показанные в книгах товарища Л. И. Брежнева люди и в бою, и в труде одинаково самоотверженно проявляют беззаветное служение своей социалистической Родине, беспредельную верность и преданность коммунистическим идеалам.

Закаленные ленинской партией, люди отважно и самоотверженно борются со злейшим врагом человечества будь то на Малой земле или на подступах к Новороссийску. Так же, не щадя себя, бьются они на трудовом фронте, возрождая разрушенные врагом и сровненные с землей «Запорожсталь» и ДнепрогЭС.

Эти книги с момента выхода в свет сразу же были переведены на многие языки, в том числе и на грузинский, и ими с увлечением зачитываются трудящиеся нашей страны.

Если говорить о «Малой земле», в которой нашла отражение одна из ярчайших страниц обширной военной биографии Леонида Ильича Брежнева — сражение у Новороссийска, то значение этой книги никак не укладывается в рамки лишь литературного произведения. «Малая земля» приобретает особое значение и тем, что она заряжает патриотическим духом молодежь, не испытавшую горечь и огонь войны, молодежь, которой не довелось понюхать пороха. Эта книга учит тому, как надо любить свою Родину и защищать ее в суровую годину тяжелейших испытаний.

Поистине с великой правдивостью и образностью повествует книга о жесточайших боях на Малой земле. И редким олицетворением этой отваги, человечности, надежд, упований

«Малой/ земли»
04.11.2020
14:00:33

и твердости духа предстает перед нами сам автор «Малой земли».

Когда читаешь «Малую землю» и «Возрождение» между строк, а иногда и непосредственно ощущаешь замечательную черту автора этих книг: его бесконечную заботу о человеке. Он постоянно думает о людях, проясляет настоящую заинтересованность в их судьбе, обеспокоенность или же искреннюю радость по поводу их переживаний или удач. Подобно кинокадрам проходят перед нами образы тех людей, кто трудился или воевал рядом с Леонидом Ильичом. Это генералы Константин Леселидзе и Владимир Зарелуа, майор Куников, политработники Видов и Пахомов, санинструктор Педенко и другие персонажи «Малой земли», а в «Возрождении» с большой непосредственностью, теплотой и очень впечатляюще изображены Кузьмин, Тихонов, управляющий трестом «Запорожстрой» Дымшиц, главный диспетчер Григорий Лубенец, инженер Шеремет, строители Лошкарева, Румянцев и многие другие.

С первых же строк «Возрождения» перед нами встает страшная картина разрушения в тех городах и селах, откуда был изгнан враг: «...Подобное пришлось мне видеть после гражданской войны, но тогда пугало мертвое молчание заводов, теперь же они и вовсе были повержены в прах».

Таково было положение, когда партия направила Леонида Ильича на работу в Запорожье. В своей книге он вспоминает: «...Бродил допоздна и повсюду видел вздыбленный бетон, крошево кирпича, груды мусора, переплетенье исковерканных балок. Не на чем было отдохнуть глазу».

Важнейшим критерием в оценке человека автору «Возрождения» прежде всего представляется труд, а оценивая достоинство человека, он учитывает вклад каждого во всенародное дело. Из описанных в книге эпизодов ясно видно, что для автора главное — это высокая требовательность к себе и другим, большая человечность. Вот что является критерием, примером для подражания, вот чему надо следовать всегда и во всем. Эти замечательные эпизоды учат тех, кому партия доверяет руководство людьми, ставит во главе масс, учат необходимости постоянно укреплять связь с массами, правильно и оперативно реагировать на замечания и предложения трудящихся, чутко относиться к их требованиям и запросам, решительно бороться с равнодушием, бюрократизмом, формализмом по отношению к людям.

Писатели, в центре внимания которых всегда находился и остается человек, могут взять на вооружение из книг Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Возрождение» любовь к человеку, заботу о нем, поддержку, сочувствие, сопереживание, скромность и многие другие замечательные человеческие черты.

В деле воспитания людей, их расстановки Леонид Ильич Брежнев отводит величайшую роль прессе, агитации и пропаганде. Он отмечает в своих мемуарах большую организаторско-политическую и пропагандистскую работу печати в дни восста-



новления запорожского металлургического гиганта. Он подчеркивает, что агитация и пропаганда должны быть конкретными, призывающими, организующими — только тогда они достигнут цели.

В «Возрождении» подробно рассказано, как в кратчайшие сроки было восстановлено народное хозяйство, как постепенно жизнь вошла в нормальное русло — и творцом всего этого был народ, прошедший сквозь испытания войны советский народ, героический народ. Вот почему совершенно естественно, что с самого начала и до конца «Возрождение» проникнуто чувством пламенной любви к народу.

Основной пафос этой книги — воспитание нового человека, его моральное, нравственное совершенство, показ его душевной чистоты на конкретных примерах.

Весьма примечателен в связи с проблемой воспитания тот пример, который Л. И. Брежнев приводит, рассказывая о трудностях, имевшихся в строительстве «Запорожстали» и Днепрогэса.

«— Цемент, бесспорно, нужен. Без него бетона не замесишь. Но гораздо важнее, чтобы человек, который кладет бетон в плотину, понимал, почему этот бетон надо укладывать и трамбовать при двадцатиградусном морозе на сорокаметровой высоте. У гитлеровцев было много техники и всего, что нужно для боя. И все-таки мы победили, потому что и мы, и солдаты, которых мы вели в бой, глубоко понимали, во имя чего мы идем на штурм вражеских укреплений, изрыгавших огонь и смерть. Вот почему партийные организации во главу угла своей деятельности обязаны ставить задачи воспитания человека. Тогда, к слову сказать, и цемент, и все прочее будет появляться несомненно быстрее, и дела у нас пойдут гораздо лучше».

Прекрасный пример заботы о воспитании людей являл собой сам Леонид Ильич. И в «Возрождении» у него приведено много фактов чуткого внимания к человеку. Ведь забота о человеке вовсе не ограничивается одним лишь улучшением условий его жизни и здоровья, это прежде всего и величайшее средство воспитания человека.

Среди многих примеров подлинно человеческого, бережного отношения к людям и неустанной заботы о них в «Возрождении» есть и такой примечательный эпизод.

На строительном участке работал мощный по тем временам башенный кран БК-151. Обстановка потребовала перегрузить его, чтобы ускорить дело. Кран упал и вышел из строя. Леонид Ильич прибыл на место аварии, где среди шумящей толпы стоял побледневший крановщик и куда уже успели приехать даже из следственных органов. Прежде всего товарищ Брежнев спросил у директора завода, нет ли жертв, и успокоился, когда выяснилось, что все обошлось благополучно.

«Стали разбираться: действительно, кран упал на свободный участок, никого не убил, ничего не разрушил. А уже слышу истерику: «Вредительство! Машиниста судить! Прораба судить!». Хочу, чтобы меня правильно поняли: я за строгую и,



главное, неотвратимую кару действительным негодяям и преступникам, вина которых полностью доказана. Но тут удивившись, что никакого злого умысла не было, а была необходимость, потребовал, чтобы изменили тон. Зачем создавать атмосферу нервозности и страха? Наоборот, апеллируя к чувству горечи, вызванному этой бедой, нужно побудить людей к поискам быстрого, наиболее разумного выхода из положения... Что дало бы строгое наказание людям, строительству, делу, которому мы служим?..».

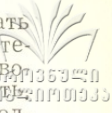
Яснее ясного — каждый руководитель должен сделать соответствующий вывод из этого мудрого совета и наставления. Такое разумное и человеческое отношение к кадрам надо внедрить и укрепить в нашей повседневной работе — сначала глубоко изучить, всесторонне взвесить ход дела и уже потом принимать решение без крика, угроз и суеты. От этого дело только выиграет.

В «Возрождении» приведен не один пример того, как должен искать каждый партийный деятель в недрах народного сознания ростки смелой новаторской мысли и стремиться обобщать драгоценный практический опыт, распространять и неуклонно внедрять его. Примером тому является опыт работы простого рабочего Карпачева, лауреатов Государственной премии Чудана, Шегала и Недужко, сэкономивших государству миллионы рублей, во много раз сокративших сроки строительства.

В книге «Возрождение» обобщен величайший опыт построения нового общества на примере Приднепровья, охарактеризованы проблемы развития советского общества, формы и методы воспитательной, идеологической работы в теснейшей связи ее с жизнью, необходимость сочетания политического и трудового воспитания, как замечательный результат развертывания социалистического соревнования. Здесь приведены незабываемые примеры тех замечательных починов, инициаторами которых являются обыкновенные рядовые советские люди и которые впоследствии были поддержаны всей страной. В произведении идет большой разговор о распространении опыта передовиков, об огромном значении его в деле воспитания советских людей.

Леонид Ильич Брежнев пишет, что в своей работе особое внимание он уделял делу подбора, расстановки и воспитания кадров. Он никогда не считался со временем для установления хороших взаимоотношений между людьми. По его глубокому убеждению, руководитель должен как можно лучше знать своих работников, знать их слабые стороны и недостатки, но главное все же суметь направить сильные стороны работника на пользу делу. Если человек знает свое дело, предан ему и борется за успех в общем деле, руководитель должен поддерживать его, даже если не все у такого работника ладится и он в чем-либо допускает ошибки.

Прежде всего Леониду Ильичу импонируют в человеке смелость, упорство, непоколебимость, самостоятельность мышления, компетентность, вера в себя, способность воспринять и



чувствовать новое, умение увидеть и своевременно поддержать инициативу. Первоочередная задача для каждого руководителя — предоставить каждому возможность заниматься именно своим делом, доверять работникам и проверять их деятельность словом, распределить работу, расставить и организовать коллектив для выполнения поставленной задачи. Такая работа делает возможным более полноценно использовать опыт и знания людей, будет способствовать повышению у них чувства ответственности и с самого же начала избавит от ошибок. В коллективной работе главное — творческий дух, чувство нового, новаторство, понимание, сопереживание, поддержка.

Как учит автор «Возрождения», метод нажима и проработок здесь неприемлем.


Особое внимание уделено в книге «Возрождение» критике и самокритике. Примеры критики и самокритики Леонид Ильич Брежнев берет из собственной богатейшей практики. «Тот, кто перестает воспринимать критику, потерян для дела», — говорит Леонид Ильич Брежнев.

«Возрождение» учит людей быть на высоте в смысле знания дела, осведомленности в происходящих вокруг событиях, точной оценки своего места в общем строю.

В «Возрождении» есть ответ на все вопросы, волнующие партийного руководителя, организатора производства. Книгу пронизывает дух огромного человеколюбия. Эти мемуары своеобразный учебник и материал, тренирующий и оттачивающий ум.

Здесь — советы и наставления, написанные человеком, вооруженным большими практическими и теоретическими знаниями, тонкие руководящие указания, которыми должны следовать и которыми должны пользоваться руководители, специалисты, деятели всех отраслей. На всем, выскоманном на страницах этого произведения, лежит печать мудрости, которой часто недостает некоторым упоенным властью спесивым руководителям. Этот художественный документ поможет им разобраться во многом и заставит задуматься о том, что руководить и управлять людьми надо не с помощью зазнайства, окрика, барских манер, отработанных перед зеркалом, а естественностью и простотой поведения, убеждением, внушением, сделанными не повышая голоса, строгой требовательностью. Скромно и неуклонно нужно выполнять доверенное тебе партийное и государственное дело и на это же нацеливать других.

Возможно, название «Возрождение» возникло не только потому, что эти воспоминания повествуют о возрождении из пепла, подобно птице Феникс, всей нашей страны. Я думаю, что в заглавии книги подразумевается и возрождение большой веры и человеческих надежд. В этой книге Леонид Ильич Брежнев щедро делится опытом политического руководителя. Из повествования явствует, что он обычно легко находил общий язык с людьми и не пользовался для этого какими-либо особыми, изощренными средствами и способами. Была ли это



беседа, связанная с обсуждением серьезного вопроса или же товарищеский обмен мнениями, он всегда старался держаться на равных с собеседником, говорить только правду, какой бы горькой она ни была. Здесь же и предостережение, чтобы эта простота и скромность не были бы нарочитым панибратством, не были бы неискренними, что невольно принижает человеческое достоинство.

Главным методом в деятельности политического руководителя и партийного работника должно быть разъяснение, внушение, убеждение и еще раз убеждение.

Нам очень дорог протест Леонида Ильича Брежнева против сохранившейся еще кое-где среди руководителей отвратительной привычки повышать голос и кричать на людей.

Леонид Ильич подчеркивает, заостряя внимание хозяйственных и партийных руководителей: никто не должен забывать, что подчиненные служат не директору, заведующему или партийному руководителю, а находятся на службе у партии и государства.

Все должны помнить и руководствоваться тем, что в партии сейчас восстановлен ленинский стиль работы и нормы партийной жизни. Политическая дальновидность Леонида Ильича Брежнева, его способность объединять людей, его участие и забота залог того, что в партии и стране царит сейчас атмосфера творческого труда, что люди полны оптимизма. Требования, воспитание чувства ответственности сочетаются в людях с доброжелательностью и уважительным отношением к человеку.

Всех сфер и звеньев в жизни нашей страны касается указание Леонида Ильича Брежнева о том, что успех дела зависит от того, как мы видим перспективу, как планируем работу, как проверяем выполнение принятых постановлений. Поставленные задачи надо проводить в жизнь полностью, до конца.

Партийный руководитель, подчеркивает Леонид Ильич, если не хочет отстать, должен учиться на протяжении всей своей жизни.

Книги Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Возрождение» заряжают всех коммунистов и всех трудящихся творческой энергией, дают стимул для того, чтобы с еще большим рвением бороться за успешное осуществление начертанных партией и правительством задач.

Значение «Малой земли» и «Возрождения» многогранно, и это не только потому, что Л. И. Брежнев знает вся планета и к его слову прислушиваются миллионы, живущие на всех континентах, а потому еще, что эти книги написаны просто, ясно, строго логично. Своей правдивостью эти книги напомнили нам, что история Великой Отечественной войны и годы послевоенного восстановления, которые сам Леонид Брежнев назвал временем возрождения поверженной в прах страны, не просто история, а такая история, которая и сегодня еще будоражит сознание и действительно требует справедливой оценки всего того, из чего эти события и явления формировались.



Председатель Совета ветеранов 18-й армии Александр Копёнкин отметил, что «Малая земля» и «Возрождение» являются образцом мемуарной литературы. Манера повествования, стиль, лаконичность в передаче эпизодов, глубина и широта мышления, проникновение в суть явлений и событий, философское обобщение, оценка характера и итогов Великой Отечественной войны и выводы, и вытекающая из этих выводов органическая связь с событиями борьбы за мир в условиях сегодняшней действительности красноречиво указывают на то, что эти произведения имеют большую историческую ценность. С этой оценкой нельзя не согласиться.

В книге «Возрождение» речь идет о первых послевоенных годах, когда Л. И. Брежнев работал первым секретарем Запорожского обкома партии.

Это воспоминания человека, который вел не узкозамкнутую кабинетную работу, а засучив рукава находился в водовороте тех исторических явлений, о которых так убедительно, искренне и любовно повествуется в этом замечательном произведении.

Не воспоминания ради воспоминаний, а обобщение опыта тех минувших героических дней и их увязка с современной действительностью с точки зрения перспектив на будущее — вот лейтмотив этого значимого произведения малой формы, принадлежащего перу крупнейшего политического деятеля современности.

В свете этих книг Л. И. Брежнева перед писателями встает задача еще более тесной связи с народом, с жизнью, большего проникновения и активного отношения к проблемам современности, чтобы достойно осветить не только одни лишь недостатки и отрицательные стороны, которые были характерны для нашей жизни и деятельности десять и двадцать лет назад, а еще более откровенно, смело и убедительно разоблачать омрачающие нашу жизнь явления, мешающие победоносному продвижению к поставленной цели. Само собой разумеется, что уровень художественного решения этих литературных произведений должен быть высок, а человеческие характеры в них полнокровны.

Выход в свет этих небольших по объему книг значительное явление в нашей государственной, политической, общественной и духовной жизни, поскольку в них с большой прозорливостью осмыслены и проанализированы исторические уроки из опыта развития нашей страны и народа, показана целая программа партийно-политической работы, с огромной силой и необычайной убедительностью сформулирован моральный, нравственный кодекс советского человека — строителя коммунизма.

Эти книги олицетворяют совесть нашей эпохи и сыграют большую роль в борьбе нашего народа за лучшее будущее.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

П о в е с т ь

Предлагаемая вниманию читателей повесть Георгия Цицишвили «Преображение» взята из его книги «Любовь поры кровавых дождей», изданной на грузинском языке в 1975 г. Книга готовится к печати в переводе на русский язык и скоро выйдет в свет. «Литературная Грузия» уже публиковала один из рассказов этой книги — «Дольше всего живет надежда».

Главным героем книги «Любовь поры кровавых дождей», от лица которого ведется повествование, является майор Хведурели. Он как бы объединяет отдельные произведения, в которых показан как первый, наиболее тяжелый период войны, когда советские войска терпели неудачи, так и период победоносного продвижения на запад. Но автора интересуют не батальные сцены и описания военных операций, а внутренний мир и сокровенные чувства защитников Родины. Поэтому действие в большинстве рассказов происходит не во время боев, а во время кратких передышек.

Повесть «Преображение» стоит в книге в некотором роде особняком. Она отображает то время, когда на фронтах Великой Отечественной войны шло выдвижение способных молодых кадров, когда многие из старых военных воззрений решительно пересматривались и советская военная наука делала мощный бросок вперед. Это то самое время, о котором говорилось в пьесе Корнейчука «Фронт».

Без глубокого осмысления досадных промахов в руководстве войсками, допущенных в начале войны, в планировании операций, в расстановке кадров были бы немислимы и те успехи, которые привели к победе над сильным врагом. Именно эти вопросы поднимает публикуемая повесть, стремящаяся показать людей, беспощадно борющихся с врагом, но не теряющих тепло души, не очерстевших, как большинство солдат и офицеров фашистской армии. Неугасимая любовь к Родине, способность к самопожертвованию, сочувствие к ближнему, верность высоким человеческим идеалам — вот что характеризует героев книги «Любовь поры кровавых дождей».



— Если позволите, я выпью еще стаканчик, что-то в горле пересохло.

Начальник артиллерийского полигона ладонями пригладил седеющие волосы и, не дожидаясь приглашения, залпом осушил стакан водки.

В избушке, сколоченной из неструганных бревен, нас было двое: подполковник Яхонтов, сухопарый, саженого роста мужчина пятидесяти лет, в поношенном кителе с засаленным воротником, и я — по сравнению с ним молодой офицер, всего-то два месяца назад принявший командование артиллерийским полком.

У моего собеседника были удивительные глаза: без ресниц, с припухшими веками, светлые и прозрачные, словно выгоревшие от солнца. Я заметил также, что у него очень короткие руки. И смеялся он как-то странно, отрывисто и коротко, точно в горле у него застрял ком и он пытается проглотить его.

Подполковник Яхонтов поначалу показался мне даже излишне вежливым. Правда, как командир отдельной части я не подчинялся ему, но, находясь со своим полком в расположении вверенного ему полигона, я так или иначе зависел от него и, следовательно, подполковник мог в некоторой мере проявить свою власть.

Я присматривался к сидевшему напротив меня Яхонтову и никак не мог понять, что претило мне в этом человеке: тонкий, резкий голос, вежливость или же скрываемое, но все-таки осязаемое стремление казаться лучше, чем он есть на самом деле.

Невольное, независимое от меня подозрение и подсознательная осторожность не позволяли мне быть до конца откровенным с ним и явно мешали нашему общению.

Я только недавно выписался из госпиталя, больная нога по-прежнему давала о себе знать. Да и к тому же я не успел окрепнуть как следует после ранения — стоило мне попасть в теплое помещение, как меня одолевала дремота.

Нелегкие обязанности командира отдельной части, неожиданно свалившиеся на мою голову, совсем доконали меня. При всем желании я не мог выкроить ни одной свободной минуты, кроме шести часов, отведенных для сна. Через месяц полк должен был принять участие в военной операции, и чтобы хорошо к ней подготовиться, нам следовало днем и ночью совершенствовать боевую подготовку.

Поздно вечером, когда измотанный и голодный я возвращался к себе, мечтая только об одном — поскорее добраться до кровати, подполковник был тут как тут. От него невозможно было избавиться, не угостив его стаканчиком водки. Но беда была в другом — подполковник, выпив, становился не в меру словоохотлив, не давал другому возможности вставить в разговор хотя бы слово. Прошло четыре дня с тех пор, как мы расположились на полигоне, и я уже в четвертый раз слышал возбужденный после очередной порции принятой водки голос подполковника.

Я сидел, провалившись, в глубоком, старом, неизвестно где найденном кресле и присматривался к своему собеседнику.

Он был намного старше меня, но выглядел моложе. Удивительно, как он мог так сохраниться. Причину этого я понял только тогда, когда, разгоряченный водкой, он скинул себе на короткую потрепанную шинель: на груди его красовалась одна-единственная медаль и та — «Двадцать лет РККА». Да, подполковник, видать, берег себя...

Четвертый вечер как две капли воды был похож на предыдущие. После первого же стакана светлые глаза начальника полигона становились еще более бесцветными, стеклянными. Он начинал громко хихикать, рассуждения его приобретали все большую уверенность и решительность, речь принимала менторский тон.

— Ты еще молод, дорогой майор, слушай меня и не прогадаешь. Знаешь кто я? Мы с Родимцевым... Слышал, конечно, о генерале Родимцеве? О том самом, что сражается под Сталинградом? Теперь все о нем пишут, командир гвардейской дивизии... Так вот, я и Родимцев были адъютантами самого наркома обороны, так-то!.. На Красной площади, во время парадов, когда нарком, объехав войска, соскакивал с коня и направлялся к трибуне, конь его сам возвращался к Спасским воротам!

Сам, без седока, слышишь?! Один! Иностранцы смотрели на это вылупив глаза и разинув рты. Конь без всадника, каково, а? К тому же, конь подстраивал свой шаг под «встречный марш», ты можешь себе это представить?! Да, вот это был конь!..

Так вот, когда наркома сопровождал Родимцев, коня встречал я, и наоборот. Я дожидался коня у Спасских ворот и, как только он появлялся, стремглав бросался к нему и хватал под уздцы. Ох-хо-хо, ну и проклятый был конь! Однажды, когда я схватил его, он рванул и поволок меня, но руки у меня крепкие, что надо. Удержал все-таки я его, хотя и перебил себе колени! Да разве я мог не удержать его! Мне оказали такое доверие, вверили престиж наркома, да еще какого — наркома обороны! Представь только на минуту, что бы случилось, не удержи я коня!.. Ведь он мог выскочить снова на площадь! И тогда не оберешься позора! Осрамилось бы все наше войско, и перед кем, перед какими-то голоштанными иностранными атташе. пропади они пропадом!

Послушай-ка: я говорю это только тебе! Другому не доверюсь. Если я сейчас, вот сию минуту напишу наркому — такую баню всем здесь устроят, что чертям тошно станет. Но тебе помогу! Если будешь слушаться меня, совсем скоро сделаю тебя подполковником! Ты лей, лей, не скупись, не своим добром угощаешь...

В тот день я чувствовал себя уставшим как никогда. Видя, что красноречию подполковника не будет конца, я встал, извинился и сказал, что мне необходимо обойти подразделения.

— Что, подразделения, говоришь? Ха-ха-ха... Ну и опытен же ты, майор! Для чего у тебя штаб?! Не ты должен проверять, а твой штаб! Хороший офицер не тот, который сам все делает, а тот, кто все заставляет делать другого, сам же, как опытный... как, бишь, его... дай бог вспомнить... театраль-

ный капельдинер, нет, капельмейстер, то есть дирижер, руководит всеми. Так-то!

Садись, садись и налей-ка еще. Я расскажу тебе, как мы готовили артиллеристов для Испании... Вы, молодые, ничего не знаете, нацепили вам погоны, а вы и пошли хорохориться!.. Я же, дорогой мой, свое звание подполковника, как добрая наседка, целых двадцать пять лет высиживал! И то едва высидел. А ты уже майор! В армии не больше трех лет, а уже майор! Потрясающе!.. Того и гляди в этом году подполковника получишь, а потом уже, если, конечно, уцелеешь — полковника! Жаль, очень жаль, что нынче так обесценены звания и чины!.. Налей, чего жадничаешь, не из своего же кармана выкладываешь? Лей!

Я хотел было резко прервать его, но воздержался, налил ему еще водки и тихо, но твердо отчеканил:

— Мое поколение, товарищ подполковник, не заканчивало, как вы, академий. Мы на фронте изучали и теорию, и практику. А вам, я замечаю, не хватает именно этой фронтовой закалки. Почему не попроситесь на фронт? Если к вашим знаниям прибавить и военный опыт, тогда...

Гордый и самодовольный подполковник неожиданно сник, снова залпом осушил стакан и, не дав мне закончить фразы, приблизил ко мне свое багровое лицо и тихо, словно доверяя тайну, сказал:

— Если все мы отправимся на фронт, кому тогда заниматься, — он рукой очертил территорию полигона, — вот этим? Там, на фронте, подойдет любой, здесь нет. Я человек долга. Куда меня пошлют, там и служу, и служу до тех пор, пока этого требует дело. Я терпелив. Если мне прикажут, я могу окаменеть на месте, слышишь, майор, в самом деле могу окаменеть!

— Боже сохрани, вы еще нужны стране! — Эти слова вырвались у меня произвольно, и я тотчас спохватился, вдруг он воспримет как издевку невольную сквозившую в этих словах иронию. Но скоро я успокоился, убедившись, что подполковник не понял ни смысла моих слов, ни их подоплеку. Наоборот, решив, что это похвала, он проникся ко мне благодарностью, схватил мою руку, крепко сжал ее и радостно сказал:

— Вы правильно меня поняли, спасибо вам! Спасибо! — Потом надел высокую полковничью папаху (наверное, она была подарена ему каким-нибудь полковником, он ведь не имел права носить такую) и пошел к двери.

Я вздохнул с облегчением, решив, что, наконец, мне повезло, но Яхонтов на пороге обернулся и словно между прочим бросил:

— Вот уже три недели я не получал «доппаек», прикажи, чтоб выдали. В конце концов, не все ли равно, где я его получу. У вас или на армейском продскладе?

В душе я сам удивился, когда, вместо того чтоб отказать ему, — согласился. Чем это объяснить? Желанием скрыть свое пренебрежение к нему или же интеллигентской бесхребетностью?

Не знаю, почему нередко бываешь непростительно добр к человеку, для которого тебе вовсе не хотелось бы сделать что-нибудь хорошее, да он и не заслуживает этого...

Едва подполковник вышел, я стал корить себя: почему я не отказал ему. Знал ведь, что не имел права выполнять его просьбу, и все-таки согласился.

— Черт побери всех разинь, и меня в том числе, — ругал я себя в душе.

В прописной же истине, что не всегда доброта хороша и что не с каждым можно и нужно быть добрым, я убедился сразу же после этого случая и благодаря именно подполковнику.

По штату у Яхонтова как начальника полигона было в подчинении три человека: начальник штаба, худощавый капитан сорока с лишним лет, дважды тяжело раненный и негодный к строевой службе, тихий и безобидный; старшина, вечно заросший украинец, хмурый и молчаливый; и сержант Рыкулин, отчаянный поклонник Вакха, красавец-блондин, статный, высокий, чародей гармонии и страстный любитель женщин.

У сержанта были голубые глаза, дерзкие и колючие... Не знаю, мне казалось или же это было в самом деле, в его глазах было столько порочности, что рядом с ним человек испытывал непонятную неловкость. А на женщин он смотрел так, словно каждую звал в постель.

Рыкулина я уже успел наказать дважды. Правда, благодаря начальнику полигона он не очень-то пострадал, хотя наказать его следовало суровее. В первый раз он умудрился, получив водку для «отряда» подполковника, выдуть ее сам (видимо, с помощью самого подполковника), в другой же раз он самовольно воспользовался машиной одной из моих батарей и отсутствовал несколько часов.

До нашего прибытия на полигон для отдыха и переформировки тройке подполковника приходилось туго. Оторванные от продовольственных баз, не располагая собственным транспортом, они были вынуждены раз в десять дней на собственном горбу тащить продукты из ближайших складов, которые находились на расстоянии нескольких десятков километров. Эту не очень приятную обязанность поочередно исполняли старшина и сержант.

Вот уже два месяца как после изгнания из этих мест немец группа Яхонтова, расположившись здесь, на полигоне, питались только сухим пайком. И поскольку сухой паек съедается всегда быстрее и его трудно растянуть на необходимое время, из десяти дней по крайней мере два, как признавался подполковник, им приходится зубы на полку класть.

С нашим приходом, когда, говоря на языке интендантов, мы их «взяли на довольствие», они ожили и убедились, что фронтной паек намного «калорийнее» пайка второй категории.

Но Рыкулин оказался просто ненасытным. Едва объявляли обед или ужин, он первым появлялся у кухни и всевозможными уловками старался заполучить два лишних пайка.

Поварами тогда работали у нас женщины и, хотя они днем и ночью ругали его, лишние порции все-таки выдавали.

Раза два я пытался поговорить о сержанте с подполковником, но начальник полигона всегда прерывал меня на полуслове и так рьяно начинал хвалить Рыкулина, что у меня уже язык не поворачивался жаловаться на сержанта.

А разбойник-сержант, как червоточина какая-то, мучил и не давал покоя интендантам. Стоило ему показаться на складе, там поднимался переполох. То ему не нравилось качество продуктов, то его не устраивал их вес и объем. Он вел себя предельно вызывающе, прикрываясь именем подполковника.

Интенданты же, опасаясь скандала, после недолгой перебранки выдавали ему все, что он требовал. И чувствуя свою «власть» над ними, Рыкулин наглед еще больше.

Сержанта еще можно было приструнить, но день ото дня наглед и становился требовательнее сам подполковник. Недаром ведь говорится, что аппетит приходит с едой.

Не прошло и недели со дня нашего знакомства, как однажды вечером ко мне пожаловал Яхонтов. Поговорил о том о сем, упрекнул «Информбюро» за чрезмерную «скупость» известий с фронтов и, неожиданно встав, сокрушенно покачал головой:

— Ай, майор, майор, как я погляжу, ты не больно наблюдателен... А командир должен видеть все!..

— Вы о чем? — спросил я.

— О чем? — хитро улыбаясь, подполковник сначала наклонился ко мне, посмотрел в глаза, потом, повернувшись спиной, показал свои потертые штаны.

— Ну а теперь взгляни и на это, — визгливо крикнул он тонким голосом и показал свой китель — засаленный, с потертыми локтями. — Скажи, к лицу ли офицеру Красной Армии ходить в таком наряде? Сколько раз посылал я за формой своего старшину, и всегда ему отказывают, сперва, мол, надо обеспечить фронтовые части и только потом, как они выражаются, полигонных крыс! Это я-то крыса?.. Да стоит мне написать письмецо маршалу или пойти к командующему, всем им не сдобровать. Но не добираться же мне до командующего пешком. Сам понимаешь, не подобает мне стоять на дороге и голосовать, здесь попутных машин-то мало! А у тебя на складе все имеется! Почему бы тебе не помочь добрым людям?

Ничего не говоря подполковнику, я тотчас позвонил своему заместителю по хозяйственной части и велел выдать Яхонтову брюки и китель из вновь полученной партии.

Заместитель хотел было мне что-то возразить, но я прервал его, повторив приказание, и повесил трубку.

Подполковник с благодарностью пожал мне руку. С этих пор наши отношения несколько потеплели, но ненадолго...

На второй или третий день мне позвонил взволнованный начальник продовольственного снабжения Кибальчич, называемый нами коротко «начпродом», и пожаловался на подполковника: мол, спозаранку пришел на склад и попросил офицерский паек для своего старшины, так как, по его ут-

верждению, старшина занимает штатное место младшего офицера.

— Но он ведь не числится у нас офицером, с меня еще шкуру сдерут! — горячился начпрод.

Мне неприятно было слышать это, но и подполковника обижать не хотелось. Поэтому, полупрося-полуприказывая, я посоветовал Кибальчичу:

— Не обижай старика, выдай ему что просит...

Но «старик» не унимался.

На следующее утро, когда я заглянул в штаб полка посмотреть новые, только что полученные американские телефонные аппараты (заключенные не в деревянные ящики, а в мягкие сумки из желтой кожи), ко мне подошли начальники продовольственного и обозно-вещевого снабжения. Оба показались мне до крайности взволнованными. Как только мы отошли в сторону, они в один голос стали просить освободить их от должности, послать в отдел кадров армии, только бы не видеть им подполковника.

Я удивился, потому что знал их как выдержанных и спокойных людей, и не представлял, что они могут так горячиться.

— Что случилось? — спросил я, удивленный, у Кибальчича.

В это время появился подполковник.

Он пальцем указал мне на моих собеседников и процедил сквозь зубы: «Обоих надо в шею гнать, обоих!». Потом резко повернулся и, пока я соображал в чем дело, направился к своей избе, расположенной на пригорке, откуда пресматривалась вся местность.

Кибальчич дрожащим голосом проговорил:

— Товарищ майор, извел он нас совсем...

— Что же в конце концов случилось? — повторил я.

— Каждый день приходит на склад, не дает нам покоя...

— Заведующего складом чуть со свету не сжил, — вмешался в разговор начальник обозно-вещевого снабжения, — все придирается: это вы не так храните, то неверно делаете...

— Сам толком ничего не понимает, а нас поучает, — горячился Кибальчич, — проверяет накладные, кому, когда, почему и сколько выдали, что осталось, что проведено через журнал... Скажите, какое он имеет на это право!..

— Стоит нам сказать ему что-то, тотчас начинает браниться, вы, мол, интенданты, плуты, я вам покажу, сейчас же напишу маршалу... А сам все без всякого на то права... Я не хотел говорить вам, чтоб не огорчать, сапоги он менял трижды... одни ему жмут, другие велики, взял и одну портупею, спиши, говорит, как-нибудь...

— Мы решили было молчать, но он совсем разошелся... Сил больше нет...

— Заведующий продскладом старший сержант Евчук написал вам рапорт с просьбой перевести его в батарею, он больше не может там работать. Вот, пожалуйста!

Интенданты говорили наперебой, боясь что-то упустить. Видимо, им в самом деле трудно приходилось.

Я чувствовал, как и сам постепенно накаляюсь.



Первой мыслью моей было пойти к подполковнику и сказать ему свое возмущение, но, подумав, я решил, что час очень взволнован и могу наломать дров, поэтому неприятный разговор отложил на завтра.

Интендантов я кое-как успокоил, обещал помочь.

В ту ночь, проверяя караульных, я стал обходить свою часть. Проверил все посты, подразделения, артиллерийский и автомобильный парки, склады и уже собирался возвращаться, когда услышал едва уловимые звуки музыки.

Удивленный, я остановился, прислушался. Обостренным слухом фронтовика я различил звуки вальса. Доносились они из избы, которую занимал подполковник.

Ставни были плотно прикрыты, дверь в сени заперта. Я обошел дом и заглянул в щелочку между ставнями (в той ситуации разгадка тайны таким образом, я думаю, не могла считаться зазорной). Заглянул — и остолбенел: подвыпивший подполковник, подхватив одну из моих телефонисток, так неистово кружился, что ему мог бы позавидовать любой юноша.

Кроме них в комнате с самозабвением танцевали еще: два офицера, повариха — мордвинка Лашченина, машинистка — флегматичная Ариадна и еще одна, она работала телефонисткой в моем полку.

С поварихой танцевал угрюмый старшина, да так ловко, что одно загляденье.

В углу сидел сержант Рыкулин и тихо наигрывал на гармонии. Его осовые глаза и тело, склоненное над гармонью, выражали полное блаженство. На столе пусто, ни намека на еду, но танцующие, видать, успели уже промочить горло...

Я онемел от злости. Более всего в эту минуту презирал я сержанта, ибо не сомневался, что организатором ночной гулянки был именно он.

Теперь, вспоминая ту ночь, я даже удивляюсь, почему тогда я так разозлился, что кощунственного в том, что люди, уставшие от войны, улучив время, собрались потанцевать?

Но тогда, в грозные дни войны, эта вечеринка в уютном домике подполковника казалась мне страшным грехом, беспредельной распущенностью, настоящим Содомом и Гоморрой, и даже изменой Родине!

Сейчас, много лет спустя, я сознаю, что в ту минуту почувствовал на себе суровый, сумрачный взгляд Верховного Главнокомандующего, осуждающий и порицающий. Как и многие, я тогда старался во всем подражать ему. В то время, да и не только в грозную пору войны, но и вообще походить на него хоть немного было высшим проявлением гражданственности.

Вероятно, глубоко укоренившаяся в каждом из нас «непримиримость» к слабостям и вызвала во мне крайнее негодование и желание наказать «осквернителей».

Я тотчас направился в штаб, объявил тревогу и пошел на батарею, в которой служили «ночные гости» подполковника —

заместитель командира батареи и командир огневого взвода. Ожидания мои оправдались: уже были скомандованы данные для заградительного огня, когда на батарее, забывшись, ворвались любители ночных развлечений.

Увидев меня, они растерялись.

Не прошло и минуты, как предупрежденный мною командир взвода управления доложил об опоздании телефонисток.

Я отменил тревогу и вызвал к себе офицеров. Освободив от должности командира огневого взвода, что же касается заместителя командира батареи, то я был обязан согласовать свои действия с начальником отдела ПВО армии, чтобы отправить его в резерв. Телефонистку и машинистку арестовал на пять суток.

Но на этом «варфоломеевская ночь» не закончилась. На следующий день я подошел к кухне в тот самый момент, когда сержант уже бежал оттуда с двумя котелками.

— Сержант! — крикнул я. Рыкулин замер на месте. — Что у тебя в котелках?

— Обед, товарищ майор!

— Для кого?

— Для меня и подполковника, товарищ майор.

— А может быть наоборот, для подполковника и тебя?

— Так точно, товарищ майор!

— Ну-ка подними крышки.

Сержант замешкался, но, взглянув исподлобья на меня, решил, что лучше не перечить. Довольно большой котелок был наполнен наваристым супом, в другом была гречневая каша с четырьмя здоровыми кусками мяса из американских консервов. Второго было не менее четырех порций.

— Это обед на двоих?

Сержант молчал.

Я повторил вопрос, но он по-прежнему молчал, нагло уставясь на меня своими красивыми, хитрыми глазами.

Я велел позвать повариху. Примчалась, запыхавшись, толстая и неповоротливая Лашченина и на мой вопрос, сколько порций она выдала Рыкулину, стала оправдываться:

— Да что же мне делать, товарищ майор, пристанет как банный лист, не знаешь, куда и деваться. Когда я спросила... нет, когда он сказал...

Я прервал болтливую повариху и велел Рыкулину вернуть котелки. Подполковнику была послана положенная ему порция обеда, а сержанта я отдал под арест.

— Ваши ночные гости тоже там, — сказал я ему, — можешь потанцевать с ними.

Лашченина лишилась места поварихи и была послана в распоряжение самого строгого командира.

Не прошло и получаса, как ко мне, запыхавшись от быстрой ходьбы, ворвался подполковник.

— Что вы делаете, майор, не понимаете, что играете с огнем?

— С огнем?

— Да, с огнем! Какое вы имели право арестовывать моего сержанта?



— А я не ограничусь только арестом. Передам его дело на расследование.

Подполковник, как мне показалось, насторожился.

— Что он натворил? — спросил он уже с меньшей заисчивостью.

— Он мошенничал, занимался вымогательством.. — ответил я и тотчас почувствовал, что подполковник облегченно вздохнул. Я понял, что ему известны и более тяжкие проступки сержанта.

А что Рыкулин способен на многое, я в этом не сомневался. Но не столь уж велика птица этот сержант, чтобы из-за него сыр-бор загорелся, тем более я был уверен — Рыкулин своевольничает не без ведома своего командира.

— Знаете что, товарищ подполковник, — сказал я возмущенному Яхонтову, — оставьте у меня своего сержанта. Он здоров, сообразителен, я зачислю его в батарею и сделаю из него отличного артиллериста. А вместо Рыкулина мы подыщем вам более подходящего, степенного и надежного человека...

Тут Яхонтов очертя голову накинудся на меня. Но я в долгу не остался. Сержанта я не освободил, а расследовать его дело велел своему заместителю (кстати, он такие «конфликтные дела» разбирал всегда с великой охотой).

На следующий день мне позвонили из штаба артиллерии армии и настоятельно попросили ограничиться трехдневным арестом Рыкулина, после чего вернуть его подполковнику, потому что Яхонтов ни о ком другом и слышать не хочет.

Что мне оставалось делать? Я продержал Рыкулина под арестом три дня, после чего вернул своему командиру.

В течение тех трех дней подполковник не подходил ко мне на пушечный выстрел. К исходу же четвертого дня он заглянул как ни в чем не бывало, словно и не было между нами неприятного инцидента.

Не добившись от меня ничего «прямой атакой», начальник полигона решил, видимо, действовать иначе.

Должен признаться, что с первых же дней нашего расположения на полигоне мне пришлось не легко. Груз, возложенный на мои плечи, был столь велик, что я порой отчаивался, справлюсь ли с ним. В такие минуты безысходности я старался бывать среди людей, шел в подразделения. Иногда я целыми сутками не покидал батареи, ведь спустя месяц вместе с передовыми частями армии мы должны были прорвать вражескую линию обороны и, как говорят артиллеристы, следовать за стрелковыми частями «огнем и колесами». Готовиться к этому следовало серьезно и упорно, каждый солдат, каждая орудийная единица должны были быть в полной боевой готовности.

Меня беспокоило и то обстоятельство, что пополнение полка состояло сплошь из новичков, не нюхавших пороха. Им всем следовало хорошо овладеть стрельбой, военной техникой, приобрести навыки быстрой перекатки орудий во время боя, что нелегко дается солдатам, долгое время находившимся в обороне.

Хотя помимо всего этого у меня было еще немало забот, опыт подсказывал мне, что основное внимание следует уделять именно боевой подготовке, остальное можно пережить на плечи заместителей.

Едва я возвращался к себе поздно ночью и успевал только отстегнуть португеею, как являлся подполковник и с места в карьер начинал ругать какое-нибудь мое подразделение или же всю мою часть в целом.

— Я, дорогой майор, — он всегда начинал с этих слов, — ворчун по натуре, но сердце у меня доброе. Мне-то уж можно верить в знании артиллерийского дела. Тут я, как говорится, собаку съел! Шутка ли, тридцать лет служить в артиллерии! В царской армии я фейерверкером был и принимал участие в Брусиловском прорыве... Ты же, дорогой друг, не обижайся, еще молод. Ты должен учиться у таких, как я, потом сам скажешь спасибо... Слушай, что я тебе скажу: вот этот твой длинный ефрейтор, заряжающий, почему-то не отводит правую ногу в сторону, заряжая орудие; так вот, если ему придется стрелять при большом угле прицела, при откате орудия эту самую ногу переломит ему казенником как макаронку, понял?

Вслед за этим шли рассуждения о беспросветности жизни безногого и о том ущербе, который он приносит государству. Слава богу, к тому времени я уже дремал...

На следующий вечер Яхонтов являлся с другим замечанием (в день он выдавал только по одному замечанию):

— Слушай-ка, что я тебе скажу, майор, ты уже знаешь, что я люблю поворчать, и, наверное, не обидишься... Эх-эх-эх, когда я был таким молодым, как ты, я охотился за замечаниями старших, как за перепелками... Не любил, когда меня хвалили, любил, когда поругивали... Так вот, я хочу немного... Ты, надеюсь, поймешь...

— Прошу вас, прошу... — подзадоривал я его.

— Есть у тебя наводящий на ПУАЗО. Слышал о такой птице — попугай, она везде водится, так вот, заладил он как попугай «нет совмещения». А откуда совмещению взяться, я его мать в бане видел, если цель идет «нулевым» курсом?! Этот болван и не ведает, что в таком случае на движущихся каретках вдоль стержня следует считать одинаковые данные и по ним вести совмещение...

Все это я сам отлично знал, был требователен к другим, но в полку у меня было сорок восемь заряжающих, из них половина основных, остальные заменяющие, и столько же наводящих со своими дублерами. Мог ли я уследить за всеми, к тому же это входило в обязанность командиров взводов и батарей.

А подполковник в своей каракулевой папаше расхаживал, заложив руки за спину, из подразделения в подразделение, наблюдал за учебой и, замечая неполадки, вместо того чтобы тут же поправить ошибку, помочь на месте солдату или офицеру, брал это на заметку, чтоб вечером, встретившись со мной, иметь лишний повод упрекнуть меня в чем-то.

Видимо, именно таким образом решил он приручить меня. Подполковник, «паства» которого состояла всего из трех подчиненных, ох, как жаждал командовать и наставлять!

На первых порах, признаться, я не сразу раскусил подполковника и смиренно выслушивал все его критические «замечания», несколько раз даже сделал кое-какие пометки в записной книжке, но со временем убедился, что «добровольным инспектором» руководила не столько жажда помочь мне, сколько желание продемонстрировать свои знания и показать свою власть.

Я заметил также, что к тому времени подполковник уже успел, мягко выражаясь, сесть мне на голову. Он разговаривал со мной не как с равным, а сугубо назидательным тоном, словно я солдат, а он мой старшина.

Тогда я решил урезонить его. Созвав командиров батарей, я дал им несколько советов и под конец, словно между прочим, добавил:

— На артиллерийский тренаж посторонних не допускать. Командиры настояжились. А один из них прямо спросил:

— И начальника полигона тоже?

— Подполковник для нас всего-навсего старший офицер, а не непосредственный начальник, — уклончиво ответил я.

У командиров батарей прояснились лица.

«Неужто он им тоже осточертел», — подумал я и решил уделять больше внимания действиям подполковника. Я горел желанием тотчас отыскать нашего «шефа»-самозванца и окончательно уяснить, кто из нас командир части — я или он?

Как говорится, на ловца и зверь бежит. На следующее утро у своего крыльца встречаю я подполковника.

— Товарищ майор, — раздраженно обращается он ко мне, — кто распорядился не пускать меня на территорию моего полигона?

— Территория, разумеется, ваша, и нам нет до нее никакого дела, — спокойно ответил я.

— Вот именно, но часовой даже не подпустил меня к батарее!

— А вот батарея уже наша. И вам до нее нет никакого дела! — тем же тоном возразил я.

— Что?! Вы даете себе отчет, с кем вы говорите? — вспыхнул Яхонтов.

— Товарищ подполковник, оставьте в покое мою батарею и занимайтесь своими делами, — произнес я, выделяя слова «мою» и «свои».

— Наставлять меня? Я вам покажу! — крикнул он и, резко повернувшись, зашагал к своей избе.

Весь день я ждал, что грянет гром, но прошел день, за ним второй, а подполковник ничего не предпринимал.

На третий же день, когда, едва добравшись до кровати, я свалился как подкошенный, ко мне без стука вошел начальник полигона. Он и прежде никогда не стучал и не спра-

шивал, можно ли войти, видимо, считая это излишним.

— Майор, хватит притворяться, я ведь знаю, что вы не спите. Я видел, как вы сию минуту вошли.

— Вошел сию минуту, но уже сплю, — не открывая глаз, ответил я.

Подполковник, кряхтя, опустился на стул и закурил. Несколько минут он молчал, потом произнес свою излюбленную фразу:

— Майор, вы еще молоды...

Не знаю, какая сила вдруг подхлестнула меня, я так стремительно вскочил, что подполковник, вздрогнув, поспешно отодвинул свой стул и, широко раскрыв глаза, спросил дрогнувшим голосом:

— Что с вами, товарищ майор?

— Знаете что... — я не смог вдруг подобрать необходимое слово и сказал первое, что пришло на язык: — Ваши сентенции...

Я еще не закончил фразы, как вскочил уже подполковник.

— Мои сентенцы? — взволнованно произнес он. — Когда я вам сделал хотя бы одну сентенцу? Да, хотя бы одну! Когда, когда? — он вытянул шею, поднес свое лицо чуть не вплотную к моему и упрямо твердил: — Когда, скажите, когда?

Я чуть было не расхохотался, убедившись, что подполковник не понимает значения слова «сентенция», вероятно, думает, что оно означает что-то вроде интриги. Я с трудом сдерживал смех и не произносил ни слова, боясь, что сразу же расхохочусь.

А разобиженный подполковник кружил по комнате и сопел, как медведь:

— Сентенцу, говорит, мне сделал, интересно, когда это я сделал ему сентенцу?

Мое молчание он принял как признание вины, успокоился, снова сел, зажег потухшую папиросу.

— Не понимаю, что я сказал вам такого, что вы так вспыхнули? — спросил он, не спуская с меня испытующего взгляда — тут дело в чем-то другом.

— Удивляетесь? Каждую минуту я только и слышу от вас, что я молод, словно я виноват в этом. Думаете, не понимаю, что вы издеваетесь, называя меня молодым! И в конце концов, какое вам дело до того, молод я или нет?! Не забывайте, что я старший офицер, командир отдельного полка, поэтому будьте добры обращаться ко мне так, как это подобает моему рангу.

— А вы — как подобает моему! — произнес он так глухо, что мне, сам не знаю почему, вдруг стало жаль его и где-то в глубине души я даже почувствовал раскаяние.

Чтоб замаять неловкость, я достал из маленького шкафчика бутылку водки и поставил ее на стол.

У подполковника, как у гимназиста, заблестели глаза. Он тотчас размяк, и мы как-то незаметно для нас обоих, помирились. Видать, «слезам Пилата» долго еще властвовать если не над душами, то хотя бы над настроением людей...

Прошло еще несколько дней.

Слоняясь целый день от безделья по полигону, подполковник вечерами наведывался ко мне и пересказывал услышанные по радио новости. Нередко он сообщал такое, что мне и во сне не могло присниться.

Наконец я понял, что Яхонтов слушает иностранные передачи. Его старшина, как я убедился позже, был опытным радистом, и именно благодаря нему начальник полигона имел эту возможность.

Подполковник хорошо знал фамилии фашистских военачальников — командующих фронтом, армиями, группами армии, знал их чины, заслуги. Вплоть до командиров корпусов. Я воевал уже почти два года, однако знал по фамилиям не всех командующих армиями нашего фронта, не говоря уже о немцах.

Подполковник заметил, что его «последние новости» порой меня действительно интересовали, в особенности сведения о втором фронте, и стал чаще говорить на эту тему. В те вечера, когда он сообщал мне интересные новости о действиях наших союзников, его посещения не были столь обременительными для меня.

И в его поведении я не находил ничего вызывающего. «Наверное, наши отношения вошли в нормальное русло», — думал я.

Правда, когда он пересказывал мне новости, раза два я столкнулся с его настороженным взглядом, но это показалось мне такой мелочью, что я не придал этому никакого значения.

За три недели до окончания срока, отведенного для подготовки полка, к нам неожиданно нагрянул полковник Чуднов, начальник политуправления спецвойск фронта, известный своей строгостью и требовательностью.

В то время у нас на фронте было два политуправления. Одно — для стрелковых частей (оно курировало крупные стрелковые соединения) и другое — для специальных видов войск, в частности для артиллерии, бронетанковых, инженерных, десантных частей, а также ВОСО (Военный отдел сообщения), ВНОС (Воздушное наблюдение и оповещение связью) и других спецчастей.

Начальником именно такого рода политуправления был Чуднов, человек хмурый, немногословный, но честный, прямой и мужественный. Это был яркий образец фронтового партийного работника. Его все боялись, но уважали и считались с ним. Может показаться странным, но в ту пору было немало людей, которых любили именно за их суровость.

Поздоровавшись, Чуднов тут же сказал мне:

— Я приехал проверить готовность твоей части, — и взглянул на меня поверх очков.

Мы молча направились к подразделениям, но начальник политуправления так поспешно обошел батареи, настолько поверхностно ознакомился с боевой подготовкой полка, что я тотчас понял — к нам он пожаловал с совершенно иной целью.

Чуднов был известен своей прозорливостью, внимательностью, умением проникнуть в суть дела, поэтому меня удивило его поведение.

Но, несмотря на довольно поверхностную «экскурсию», полковник правильно оценил положение: к тому времени полк

уже был почти готов к наступлению, и полковник это отметил. Знакомясь со штабом, он успел переговорить о чем-то с моим заместителем по политчасти, потом с оперуполномоченным полка.

Почувствовав, что Чуднов хочет поговорить с ними наедине, я отошел в сторону и не подходил к ним, пока он сам не позвал меня.

Умный и чуткий Чуднов не упустил этой детали моего поведения и, казалось, несколько подобрел.

Когда мы отошли от часового, стоящего у входа на территорию полигона, Чуднов похвалил готовность полка, подошел к своей машине, попрощался со мной и, уже садясь было в машину, вдруг повернулся и как-то мягко, не сердясь, произнес: — Говорят, любишь выпить. Так и быть, но пей в меру и, что главное, не теряй головы... И с девочками встречаться не запрещаю... Только не очень разменивайся...

Я оторопел.

И одно и другое было явной клеветой.

С первого дня пребывания в полку я выпил всего несколько раз, по маленькой чарочке, да и то только с подполковником. Что касается женщин, то предостережение Чуднова мне было вовсе непонятно. Несмотря на то, что в полку служило больше сорока женщин, ни с кем из них я никогда не встречался и никаких «фронтowych романов» не заводил.

Мне было больно и обидно слушать Чуднова, и я попытался оправдаться, но полковник слушал меня насупившись и с каждым моим словом хмурился еще больше. Поняв, что он не верит мне, я замолчал.

Это еще больше разозлило полковника, и он сделал мне внушение, которого, возможно, и не собирался делать.

— И будь бережлив... Не наследство свое тратишь, а государственное добро разбазариваешь. А у нашей страны сегодня, из-за этой войны, много таких дармоедов, как я и ты... Понял?..

Я честно признался:

— Нет, не понял.

Чуднов спустил ногу с «виллиса», расстегнул пуговицы кавалерийской бекешки, засунул руку глубоко в карманы галифе, широко шагнул ко мне навстречу и, сощурившись, спросил: — А где ты берешь водку?

— Как где! У меня свой паек.

— Смотри-ка, у него свой паек... И тебе хватает твоего пайка?.. А чем же ты в таком случае поишь этих... этих дрянней, а?

— Товарищ полковник, в конце концов я...

— Цыц! — пригрозив пальцем, прервал меня Чуднов и поправил на голове папаху, — имей мужество признавать свои ошибки! Одним словом, будь умнее...

И, не дожидаясь моего ответа, он сердито плюхнулся на сиденье своего «виллиса», сурово бросив шоферу:

— Поехали, чего рот разинул...

Я целый день ходил как в воду опущенный...

Мысленно перечислил всех, кто мог накапать на меня, но никого не припомнил. Ни на следующий день, ни на третий день

я также не вспомнил никого. Но мне показалось подозрительным, что после проверки Чуднова подполковник ко мне не ходит. Я не мог унизиться до того, чтоб поинтересоваться, чем говорил Чуднов с моим заместителем и оперуполномоченным, но они сами сказали мне, что Чуднов интересовался, много ли я пью и безобразничаю, и был удивлен, когда они сказали, что ничего подобного за мной не замечали. Оперуполномоченный не мог понять также одно замечание Чуднова.

— Вы представляете, он вдруг говорит нам: «Нечего вам навострять уши на заграничные передачи. Мне известно, что вы иногда слушаете радиопередачи немцев. Все, что должен знать советский офицер, вы знаете, и советую вам не искать других источников информации», — оперуполномоченный повторил эти слова, недоуменно пожимая плечами.

Теперь-то я, наконец, прозрел, мне стало совершенно ясно, что «рейд» Чуднова был вызван «бдительностью» или самого подполковника Яхонтова или же кого-либо из его окружения.

На следующий день к нам прибыла комиссия из семи человек. Почему-то в этой семерке был только один строевой офицер-артиллерист. Остальные — два старших политрука, проверяющие партийно-организационную работу и морально-политическое состояние полка, и три интенданта. Председателем комиссии был политработник, ничего не смыслящий в артиллерии.

С такой комиссией я встречался впервые. Я понял, что Чуднова интересовало кое-что другое.

Целых три дня комиссия ворошила документы.

Неожиданная проверка выбила из колеи не только меня и мой штаб, но помешала боевому учению всего полка.


Офицеров вызывали поочередно, задавали десятки вопросов. После такой получасовой «беседы» они два-три часа хмуро курили махорку и, чтоб отвести душу, матерно ругались.

Наконец комиссия завершила работу, составила акт, под которым я подписался, и попросила у меня машину. Веселые ревизоры, довольные, как могут быть довольны люди, честно исполнившие свой долг, разъехались по своим частям.

В память о них остался акт в пять страниц, перепечатанный нашей машинисткой на тонкой папиросной бумаге, в котором, между прочим, отмечалось, что в продовольственном складе полка оказалось лишним: два килограмма перловой крупы, полтора килограмма жиру и полкилограмма соли. Вместе с тем не хватало пяти пачек табака, около трех килограммов сухарей и килограмма сахара.

Кроме того, неизвестно кому выданы две пары кирзовых сапог, один комплект офицерской одежды и без всяких оснований списана одна португеза.

Что касается самого главного — боевой подготовки полка, об этом в акте было лишь несколько скупых слов — «спецподготовка не доведена до должного уровня». Смешно... До «должного уровня» не была доведена специальная подготовка не только моего полка, но и всей нашей Н-ской армии. Об этом свидетельствовали приказы самого командующего армией и распоряжения его штаба...



Подполковник по-прежнему избегал меня. Наверное, боялся встретиться со мной взглядом. Сначала мне сказали, что он болен, а несколько дней спустя он, оказывается, вдвоем с другим поехал в штаб и взволнованный, радостно выпалил:

— Ну, теперь берегитесь! Мой друг назначен командующим артиллерией армии, и стоит мне захотеть, всех скручу в бараний рог. — Он произнес эти слова якобы шутя. Но я все отлично понял.

Именно в эти дни мы узнали, что генерала Шербатенко, прежнего начальника артиллерии, в самом деле перевели на другое место и назначили нового. Фамилию нового мы узнали только тогда, когда получили приказ о вступлении его в командование артиллерией армии. Фамилия его была Евжирюхин, и, как сообщил нам подполковник, они вместе закончили военную артиллерийскую академию.

Подполковник не зря хвастал, что он друг новому начальнику. Не прошло и двух дней, как за ним пришла камуфлированная легковая машина, и подполковник отправился в штаб армии.

Трудно поверить, но на фронте нередко случалось, когда перед самой операцией почему-то переводили того или иного командира на другую должность и назначали нового. И многое для каждого из них зависело от того, как была налажена работа у прежнего командира: если все бывало в порядке, то плоды пожинал новый начальник и слава доставалась ему. Если же при прежнем дела шли плохо, то новый, будь он семи пядей во лбу, ничего не мог поделать и вся ответственность за провал ложилась на его плечи.

Генералу Евжирюхину явно повезло, ибо Шербатенко был отличным начальником. Многие переживали уход Шербатенко, в том числе и я. Генерал хорошо знал меня, относился с уважением.

На следующий день после посещения подполковником штаба я получил телефонограмму: меня вызывали к новому начальнику.

Землянки и блиндажи штаба артиллерии были вырыты в песчаной почве в сосновом бору. Рельеф местности напомнил мне чайные плантации.

«Какие здесь можно было бы развести плантации, будь климат подходящий...» — подумал я и сам улыбнулся странному течению своих мыслей. Нередко в трудные и решающие для человека минуты он почему-то начинает думать о самом невероятном. ...Возможно, вследствие перенапряжения.

Штаб размещался в огромной землянке.

В передней, большой «комнате», сидели пять офицеров и две машинистки. Узкая выкрашенная в синий цвет дверь (видимо, ее приволокли сюда из какого-либо дома) была прикрыта, другая же, сколоченная на скорую руку, вела в соседнюю землянку. В ней было еще больше народу и стоял неумолчный гул. Кто-то кричал в полевой телефон, кто-то наставлял офицеров, прибывших с передовой (о чем нетрудно было догадаться по их пыльной одежде).

Капитан, сидевший возле синих дверей, тотчас встал, вежливо приветствовал меня (надо сказать, что штабные офицеры были не очень уж щедры на приветствия) и сказал:

— Вас вызывал генерал. Можете войти.

Генерал встретил меня недружелюбно. Когда, вытянувшись на пороге, я доложил о своем прибытии, он скупно бросил:

— Подождите, вас вызовут.

Я сделал шаг назад и снова оказался в большой комнате. Капитан подвинулся на край грубо сбитой длинной скамьи и предложил мне сесть, сказав при этом:

— В ногах правды нет.

Я присел. Прошел час, другой, третий.

К генералу без конца входили офицеры, то свои, то прибывшие откуда-то (это было заметно по тому, как они суетились), а те, кто выходил от генерала, выбегали из землянки с большей поспешностью. Обо мне никто не вспомнил. Сидел я на скамье и подремывал, как старик.

В полдень принесли газеты. Офицеры, как дети, набросились на них, разобрали в мгновение ока. Вежливый капитан сумел взять две газеты и протянул их мне.

Прошел еще час, и в землянку вошел высокий, представительный полковник. Я обратил на него внимание потому, что на нем была форма стрелковых частей.

Появление «пехотинца» среди артиллеристов всегда вызывает веселье и шутки. Но в этот раз никто не думал шутить. Полковник, как мне показалось, даже несколько кичась, прошел через комнату, постучался в синюю дверь и, не дожидаясь ответа, вошел к генералу.

— Это заместитель начальника политуправления спецвойск, — шепнул мне капитан, — Наверное, вызван по вашему делу..

Признаться, мне не понравился полковник. С детства почему-то я не любил мужчин, гордившихся своей красотой и породностью. Светловолосый полковник показался мне именно таким.

Я предпочел бы выслушать нарекания от сурового, непримиримого Чуднова, нежели от этого полковника.

— А где Чуднов? — спросил я капитана.

— Машина Чуднова подорвалась на mine. Полковник серьезно ранен, с месяц, наверное, пролежит в госпитале.

«Был бы Чуднов, было бы лучше», — промелькнула у меня мысль.

Синяя дверь с шумом распахнулась, и полковник спросил громким приятным баритоном:

— Кто здесь майор Хведурели?

— Я! — привстал я.

— Входи! — он повернулся, даже не взглянув на меня.

«Вот, оказывается, кого ждал генерал», — подумал я и только теперь понял, что дела мои неважны.

В небольшой комнате возле одной стены стояла железная кровать и на ней лежали какие-то бумаги. У другой стены — столик, оклеенный тонким целлулоидом. На стене, возле кото-

рой я стоял, висел черный немецкий автомат и большой «цейсовский» бинокль.

— Ты, брат, оказывается, плохой командир...

Я не сразу понял, что эти слова относятся ко мне. Доносился откуда-то издалека, а генерал сидел совсем рядом. Сделай я шаг и протяни руку, я бы коснулся его седых, остриженных «ежиком» волос.

— Пьянствуешь, путаешься с бабами, шныришь по складам... Не к лицу это командиру полка...

Улучив минуту, я сказал:

— Вас неверно информировали, товарищ генерал...

— Что? — удивился он.

— Вас неверно информировали, — еще тверже и убедительнее повторил я.

Красивый полковник в ответ на мои слова помахал в воздухе какими-то бумажками и тем же приятным тембром произнес:

— Вот акт проверки вашего полка. Здесь написано, что на складе обнаружены излишки продуктов... Откуда они у вас?

— Во-первых, обнаружили не у меня, а на продовольственном складе. Это не одно и то же.

— Как, разве полк не ваш? — с нарочитым удивлением спросил он.

— Подожди, подожди, — резко прервал нас генерал, — когда составлен этот акт?

Полковник назвал число.

— Почему до сих пор меня с ним не познакомили?

— Не знаю. Чуднов, оказывается, велел оставить эти бумаги без последствий... — таким тоном произнес полковник, словно пытался замять вину Чуднова.

«Вот это да! Молодец, Чуднов!» — подумал я и почувствовал к этому скупому на проявление чувства, строгому человеку такую любовь, которую можно испытывать только к очень близкому.

— Что? — удивился генерал.

— Старший политрук Дьяков дважды напоминал ему, но Чуднов не обратил на это внимания. Он даже запретил посылать акт вам.

— Хорошо. Когда он вернется, поговорим. Теперь перейдем к делу. Так что вы говорили?

— Я говорил о том, товарищ генерал, что у майора Хведурели обнаружены излишки продуктов. Что это значит? — патетически произнес полковник, потом, придав лицу суровое выражение, громко продолжал: — Если бы продуктов оказалось меньше, было бы понятно, ведь можно понемногу передавать продукты. А знаете, что значит лишние продукты на складе? — сверкнул он на меня глазами и еще горячее продолжил: — Излишки означают, что солдату недодают положенный ему паек. Излишки на складе — это свидетельство недобросовестности! Излишки — это настоящее «ЧП», и это никому нельзя простить, никому!

— Начальник полигона представил мне рапорт, — сказал генерал, — оказывается, ты пьянствуешь с подчиненными, самовольничаешь, неуважительно отзываешься о старших... А ес-

ли кто-то решается сказать тебе правду в глаза, ты пытаешься умаслить его. Подполковник, например, ничего у тебя не просил, а ты послал ему комплект офицерской одежды.

— Нет, он просил! — вспыхнул я, как будто именно это было главным обвинением, хотя все, что мне вменялось до этого в вину, было намного серьезнее.

— У тебя есть документ? — спросил генерал.

— Какой документ!.. Он просил меня лично, и я дал. Посудите сами, с какой стати я вдруг послал бы ему обмундирование.

— С какой стати, говоришь? Все ясно! Хотел его ублажить. Решил, что он тогда будет молчать о твоих грехах. Но подполковник оказался на должной высоте, он первый указал нам на твои проступки. Так должен поступать честный человек! Ошибки надо вскрывать, со злом надо бороться, так-то!

— Вместо того, чтоб сейчас, когда до наступления осталось не больше десяти дней, все внимание перенести на боевую готовность полка, ты, оказывается, занимаешься совсем другими делами, — качая головой, сказал заместитель начальника политуправления и взглянул на генерала.

Я никак не мог объяснить свое состояние. Я был словно оглушен, потерял вдруг всякую способность мыслить и отвечать. Обвинения в мой адрес были столь нелепы и оскорбительны, что у меня исчезло даже желание отвести от себя клевету. Хотя будь у меня это желание оправдаться, мне было бы, конечно, нелегко.

Где-то в глубине души все-таки теплилась надежда, что они «одумаются» и не допустят «ошибки», но я убедился, что нельзя уповать на чужую непогрешимость и безошибочность!..

— Так вот, товарищ майор, на сей раз вы отделяетесь легко, мы решили перевести вас в артиллерийский дивизион. Но если за вами еще что-либо заметим...—генерал не досказал и сделал рукой такое движение, словно собирался снести себе голову.

Я понял, что спорить и доказывать свою правоту бесполезно.

Когда я выходил, генерал крикнул в дверь:

— Радлов!

Я слышал, как генерал сказал майору, с которым я столкнулся при выходе: «Напечатайте приказ об освобождении Хведурели и переводе его в 1070-й отдельный дивизон. Начальником же полка назначить начальника полигона подполковника Яхонтова. На место Яхонтова временно оформите его начальника штаба».

К затылку мне словно приложили раскаленную сковороду. Щеки запылали, точно меня отхлестали крапивой.

Да, ловко провел меня начальник полигона! И не только меня, всех обвел вокруг пальца! Но куда он денется, фронт ему не полигон, и его убожество проявится в первый же день, в первом же бою!

Капитан снова вежливо предложил мне скамью, я сел и стал ждать. Пока напечатают приказ, пока вручат его мне, пройдет немало времени.

Поздно вечером я вернулся в полк.

Меня, видимо, ждали.

В штабе находились мои заместители, начальник штаба и его помощники.

Едва я взглянул на них, как понял, что они

— Вам-то что? Вот нам как быть теперь? — махнул рукой мой заместитель по хозяйственной части.

Больше всего я опасался того, что мне будут сочувствовать и соболезновать, но убедившись, что никто не думает этого делать, я облегченно вздохнул и даже повеселел.

— Чего вы носы повесили, досталось ведь мне, а не вам?

— Было бы хуже, если бы вы повесили нос, а нам было бы весело, — ответил мне начальник штаба.

— Веселится мы будем тогда, когда уберут подполковника, — проговорил мой заместитель майор Степаков.

Вскоре в штаб пришли командиры батарей, впервые без вызова.

Я даже не спросил о причине их прихода, и они молчали, но все было ясно и без слов. Душа моя ликовала, я убедился в их искренности и расположении ко мне.

Многие офицеры полка были переведены к нам с Дальнего Востока и из Забайкальского военного округа, и хотя теоретически были хорошо подготовлены, боевой закалки им, конечно, не хватало. Я как фронтовик всеми силами старался помочь им обогатить боевой опыт.

Кто знает, сколько бессонных ночей провел я, изыскивая новые средства артиллерийского тренажа, читая небогатую военную литературу, которой мы в то время располагали.

Я был счастлив, что мои труды оказались не напрасными и люди, ради которых я недосыпал ночей, чувствовали мою заботу и отвечали мне благодарностью.

Беседа наша становилась все откровеннее. Я сожалел о том, что до сих пор мне редко удавалось вот так, по душам поговорить с теми, с кем мне не сегодня-завтра придется идти в бой.

Да, порой неожиданный исход самой сложной и трудной ситуации в жизни более памятен и поучителен, нежели вся долгая жизнь до этого.

Но вскоре я стал замечать, что мы в беседе слишком уж переборщили. Офицеры откровенно, не опасаясь, выражали свое недовольство назначением нового командира. Многие просились в дивизион, в который меня направили, хотя знали, что сделать это невозможно.

Тогда-то, в беседе с офицерами я особенно остро осознал (возможно, и потому, что испытал это на своей собственной шкуре), какую беду несет с собой не вполне продуманное решение начальства, когда, не вникнув в суть дела, оно пред-решает судьбу человека.

Вспомнились мне памятные слова моего первого командира: «Отдавать приказы может каждый военный человек, но не всякий может предвидеть, что следует за этим приказом».

Страсти разгорались, и я, почувствовав, что это может привести к нежелательным результатам, сказался усталым и направился к себе.

Вдруг я услышал за собой шаги и оглянулся. Меня догнал сержант Рыкулин.

— Товарищ майор, подполковник просит вас зайти к нему.

— Где он?

— У себя.

К моему удивлению, в поведении и голосе сержанта я почувствовал больше уважения, нежели прежде. Странно, подумал я, следовало ожидать обратное.

Я раздумывал, идти ли тотчас к подполковнику или же сперва заглянуть к себе и собраться в дорогу. Но желание поскорее закончить неприятную беседу и еще более неприятный ритуал оказалось сильнее.

Довольно большая бревенчатая изба, в которой жил подполковник, состояла из нескольких комнат. В первый же день моего приезда подполковник предложил мне поселиться у него, но я предпочел жить один и быть ближе к подразделениям. С тех пор я не бывал в этом доме, стоящем на пригорке особняком.

Мы прошли через скрипучие сени, пропитанные запахом плесени и затхлости, и мой спутник постучал в обитую войлоком дверь.

Заскрипели половицы комнаты, и дверь открыл сам подполковник.

Он лихо щелкнул каблуками, молча, с достоинством склонил голову и широким жестом пригласил меня войти.

«Уже вошел в роль», — улыбнулся я про себя. Впервые за время нашего знакомства не подполковник зашел ко мне, а я к нему.

— Мне сказали, что вам дали хороший дивизион...

— Во всяком случае, он не лучше того, что получили вы...

— Думаете, такое уж счастье этот ваш полк? Можно подумать, я просил его. Мне, если хотите знать, сейчас положено руководить не менее чем артиллерийской бригадой!

— Ну да, конечно же, Абросим не просит, а дадут, не бросит, — съязвил я.

Подполковник сделал вид, что не понял моих слов.

— Я солдат, — невозмутимо отвечал он, — и люблю сильные выражения. Говорят, человек не видит собственной задницы. И вы не видите своих недостатков в работе. А я все отлично вижу. Мне после вас предстоит сделать столько, что я и не знаю, с чего начинать.

— Я тоже, к вашему сведению, солдат и так же прямолинейно скажу вам — начинайте с задницы, — посоветовал я.

— Вы, оказывается, настроены шутить! А мне не до шуток. Теперь ваши ошибки и промахи висят на моей шее. Вы всех в полку распустили, якобы хотели воспитать в них умение проявлять инициативу. На самом же деле солдаты у вас распустились, командиры батарей смотрят на это сквозь пальцы, штабники ни к черту не годны, интенданты — плуты...

— Только вы один честный и достойный человек, не так ли?

— Товарищ майор, я от вас многое терпел, но впредь

терпеть не намерен. Не имею права!.. И раньше не имел, но..

— А быть бесчестным имели право? — тихо спросил я.

— Что, что?.. А что вы называете бесчестностью?

— Клевету, вероломство, ложь, желание утопить других, чтоб самому выплыть...

— Эх, майор, майор, как вы молоды!.. — сказал подполковник и наигранно захохотал.

— Вы написали командованию, что я интересуюсь зарубежными передачами, тогда как вы сами их слушали и потом пересказывали мне; вы утверждаете, что я сам, по доброй воле, посылал вам офицерский паек, в то время как ваш сержант всеми правдами и неправдами вымогал для вас доппаек, за что и был наказан; вы пожаловались генералу, что я, желая задобрить вас, послал вам новую форму, в то время как вы сами выклянчили ее у меня; жалуетесь, что интенданты мошенничают, а сами то требуете доппаек, то незаконно берете на складе португею.

— Что поделаешь, если бы и меня, вроде вас, понизили в должности, я был бы, наверное, взбешен не меньше вас... Продолжайте, продолжайте, вас любопытно слушать...

Он облокотился на спинку стула, заложил ногу за ногу и приготовился слушать. Но вдруг, словно вспомнив что-то, наклонился ко мне:

— Хотите, раскроем друг другу карты? Едва вы появились у нас, я решил познакомиться с вами поближе, чтоб узнать, с кем я имею дело. Военный человек должен быть смел на выдумки, вот я и придумал свой способ распознать вас. Имел я право умолчать обо всем, что видел и узнал? Разумеется, нет! Я человек долга и был обязан доложить все людям, которые решают мою и вашу судьбу. И доложил. Здесь все очень просто и ясно. Так какое вы имеете право обвинять меня?.. Не лучше ли нам и впредь оставаться друзьями?

— У вас что, такая привычка — сближаться с человеком, жалить его как змея, а потом считать себя его другом?

— Я не просто знакомлюсь с человеком, я пытаюсь понять его. А вас я, например, до сих пор не могу понять.

Я не ответил, потому что в эту минуту был поглощен своими мыслями. Да, именно такие люди жалили и топтали душу честных людей, потому-то в тяжелую для страны годину многие безвинно сгорели дотла на углях страха, зажженного подозрением.

Именно такие люди, бия себя в грудь, клялись в единодушии и верности, кричали о бдительности и потом по трупам своих же друзей, как по ступенькам, поднимались все выше. Кто знает, сколько испытали на себе последствия тех роковых лет.

Дорого обошлись народу эти трудные годы, но не только потому, что от руки трусливых пигмеев или кровавых маньяков с двумя врагами заодно гибло четверо верных, преданных стране людей, но и потому, что многим они развратили душу, а еще у больших убили ее.

И подполковник не ведал, сколько в нем от человека и сколько от скорпиона... Что я мог ответить ему? Как я мог осудить ограниченного подполковника, если чья-то безжалостная рука растопила его характер и чувства как воск и отлила

заново, заронив в него сомнения: а не низменные ли чувства — черта новой морали?

Теперь я воспринимал подполковника уже спокойнее. Как хорошо, поборов в себе мелкие страсти, возвыситься душой и уже с высоты смотреть на грешную землю. Взглянешь — и тебе станет смешно! Смешно, потому что все тебе покажется такой мелочью...

— Почти каждый вечер я заходил к вам и всегда вы угощали меня водкой. Почему? С какой целью? — спросил подполковник.

— Разве быть гостеприимным — значит обязательно преследовать какую-либо корысть?

— Вы хотите сказать, что всегда были бескорыстны?

— Гостеприимство в характере моего народа и...

— Значит, весь ваш народ преследует какую-то цель, — прервал меня подполковник, — именно это я и хочу узнать.

— Я хотел избавиться от вас, потому что поил, — будто бы в шутку ответил я.

— Думаете, я такой болван? Я был вам противен, а вы меня привечали? Хотели избавиться — и поили? А я именно потому и не уходил, что мне было интересно, как вы поступите? Я видел, что вам неприятен мой визит, и все-таки не уходил. Хотел проверить, поставите водку или нет. И вы всегда ее ставили! Да, всегда! Но почему?! Почему?! Вот что интересует меня, почему?..

Что я мог ответить? В самом деле, почему?

Разве надо оказывать гостеприимство всем, кто встретится на жизненном пути? Может быть, этот обычай, унаследованный от предков, и впрямь наипервейший наш бич, и неизвестных нам людей он скорее настораживает, нежели располагает? Видимо, национальные привычки одного народа надо как-то иначе, умело сочетать с национальными привычками других народов.

— Когда вы меня угощали, вы преследовали какую-то цель. Что вам надо было от меня, чего вы добивались? Вот что главное! — подполковник, сощутив глаза, напряженно взглядывался в меня.

Я чуть было не расхохотался, когда он делился со мной своими психологическими экспериментами. Я сидел молча и с улыбкой слушал исповедь философствующего начальника полигона.

— Вы молоды, но чертовски хитры! Если бы вы победили, тогда, может быть, и раскрыли бы свои карты, но вы побеждены и потому предпочитаете не показывать их...

— О чем вы?

— О том, что вы предпочитаете не показывать мне свое оружие, которое вам, может быть, еще пригодится. Фокусник обычно так и поступает: если ты разгадал его проделки — он откроет тебе секрет, если нет — и не подумает! Жизнь — это цирк, люди — фокусники. Но одни — хорошие и опытные, другие — такие, как вы, наивные и неловкие. Да, именно неловкие... Ха-ха-ха, как вы рассмешили меня, товарищ майор!..

Мне было все ясно. Я встал.

— Знаю, вы на меня обижены, — встал и подполковник. —

Но именно в этом ваша ошибка: не ждите от человека добра, и вы всегда будете в выигрыше. Если, случится, он сделает вам доброе дело, то хорошо, а если нет, вам не будет обидно. Признайтесь, вы думали, что я буду молчать о ваших недостатках. Дайте мне сказать, не прерывайте... У каждого из нас есть свои недостатки. Вот именно, вы думали, что я умолчу о них, но я не смолчал! Если хотите знать, настоящая дружба в том и заключается, чтоб вскрывать недостатки друг друга! Главное, правильно понимать, что такое дружба! Вы очень молоды, и если будете слушаться меня, не прогадаете!

Дружба бывает разная, она имеет разную подоплеку. Без подоплеки нет дружбы! Такая дружба встречается только... дай бог памяти вспомнить... да, в этих самых... романтических книгах... Но все эти романы — глупость, потому что в них все неправда. Ее выдумывают те самые писатели, что пишут ради денег, мать их видел я в бане. А настоящая дружба всегда имеет под собой подоплеку. Да, да, вся тайна, все магнето именно в этой подоплеке.

Магнето имеется не только в автомобиле — все имеет свое магнето. Дружба лишь тогда настоящая, когда от нее есть польза, а так — для чего она? А раз дружба необходима для того, чтоб достичь чего-то, значит у нее есть своя подоплека.

Что, я не прав? А как же, вы думаете, я глуп? В молодости курсанты говорили мне, что я настоящий философ. Жаль, что в свое время я не взялся за науку, я бы показал всем кузькину мать!..

Я смотрел на подполковника и улыбался, нет, не потому, что он нес околесицу. Я подумал, что подполковник принадлежит к категории людей, которые, стоит им добиться хоть маленького успеха, вмиг становятся самоувереннее, у них появляется назидательный тон и они начинают поучать. Человек, оказывается, любит не только приобретать, но и отдавать, — он отдает тебе то, что ему самому не пригодно.

— Сдавать полк я буду завтра с утра, чтоб все закончить в один день. А теперь я желаю вам спокойной ночи и хороших сновидений, — сказал я.

— Начнем с утра, — согласился подполковник, — а что касается снов, то я их вообще не вижу, и не дай бог видеть.

— Почему?

— Сны иногда сбываются.

— Но ведь может присниться и хороший сон.

— Я уже ничего хорошего не жду.

— А как же вы живете тогда?

— Жизнь притягательна не только прелестью своей, но и горечью. Главное жить, а там — все на пользу идет. Хочешь ты того или нет — все на пользу. Ты сколько ни пляши, жизнь свое берет...

Я никогда не чувствовал себя столь одиноким и неприкаянным, как в ту ночь. Мне было очень холодно и неуютно.

— Ветер — я спозаранку, но подполковника все-таки дома не застал. Видимо, и ему не спалось.

К полудню мы закончили все дела, и осталась последняя

церемония: надо было выстроить полк, чтоб объявить, что один из нас сдает, а другой принимает командование.

Подполковник целый день ворчал: как можно сдавать полк за один день, на это необходимо по крайней мере три дня, может, где-то неполадки, где-то, не дай бог, недостача, а потом ему отвечать...

И хотя я ему несколько раз объяснял (да и сам он отлично это знал), что за все отвечают начальники отдельных служб и командиры подразделений, подполковник все не мог успокоиться. Для церемонии сдачи полка, считал он, необходима целая комиссия. До войны так было: комиссия знакомилась с делами полка, давала оценку его подготовке и материальному обеспечению, и только после этого новое начальство принимало полк.

— А так, — ворчал он, — кто знает, может быть, мне припишут ваши недочеты или же наоборот, все, что потом я сделаю хорошее, будут считать вашей заслугой...

Я не стерпел и отрезал:

— Не беспокойтесь, вряд ли вы сделаете здесь что-либо хорошее, а если и сделаете — то ваше добро не пропадет.

Мы уже подходили к плацу, где выстроился полк. К нам направился с рапортом заместитель командира.

Надо же было, чтоб именно в это время, обидевшись на мои слова, подполковник ускорил шаг и оказался впереди.

По правилам, рапорт должен был принять прежний командир, то есть я. Заместитель было замешкался, но не растерялся, прошел мимо идущего впереди меня подполковника и подошел с рапортом ко мне...

Когда я, приняв рапорт, объявил, что отныне командиром полка будет подполковник Яхонтов, по строю прошел гул и ряды заметно заволновались.

— Разрешите обратиться!.. — раздалось вдруг из середины строя.

Мы с подполковником переглянулись.

— Пусть говорит! — пожал плечами подполковник.

— Говорите! — ответил я.

Из строя, сделав два шага вперед, вышел капитан Светловидов и громко спросил:

— Насколько нам известно, через две недели нас пошлют на фронт. Неужели так необходимо было менять командира, тем более...

— Смирно! — рявкнул подполковник, и у него заалели уши. И через мгновение раздалась другая команда: — Направо!

Едва полк повернулся, подполковник снова крикнул:

— К местам расположения, шагом марш!

Полк двинулся, но все шли нехотя, не в ногу. Капитан Светловидов после некоторого раздумья побежал к своей батарее и стал во главе ее.

Мне было больно и обидно, что из-за малодушия подполковника я не смог как следует попрощаться со своим полком. Расстроенный, пошел я к себе.

— Товарищ майор, — догнал меня подполковник, — ваше пребывание здесь плохо влияет на рядовой состав... Прав-

да, это... Одним словом, хорошо было бы, если бы вы сегодня же уехали... Нет, не думайте, что я... Разумеется, можете следовать это и завтра, но... Одним словом, машина готова — ИР 9933
браться вам поможет сержант Рыкулин.

Я сам желал только одного — как можно скорее покинуть полк.

Двадцать километров мы проехали молча. Погруженный в свои мысли, я даже забыл, что позади меня сидит сержант Рыкулин.

— Наверное, вы думаете, что я рад вашему уходу из полка, — услышал я и оглянулся. Сержант Рыкулин, наклонившись вперед, смотрел на меня широко раскрытыми глазами.

— А что, ты хочешь сказать, что тебе жаль?..

— Конечно.

— Почему?

— Людей жалко. Яхонтов не сможет командовать. И себе дело испортит, и людям...

Я промолчал. Да и что я мог ответить? Он был прав, но говорил ли он это от чистого сердца, этого я не знал.

«С чего это он вдруг разоткровенничался?» — подумал я.

— Я не останусь у подполковника... — проговорил вдруг Рыкулин.

— Куда же ты пойдешь?

— На батарею.

— Что, довел тебя до ручки подполковник?

— Наоборот, подполковник не хочет меня отпускать. Я сам решил уйти на батарею... А коли я решил, не поверну назад. Хватит, люди медали и ордена получают, а я бегаю, как прислуга. Вы думаете, я хуже других?

Я снова оглянулся. Он сидел в прежней позе, наклонившись вперед, и по-прежнему смотрел на меня широко открытыми глазами.

— Ты прав! Мужчина должен заниматься мужским делом.

— Видите, и Яхонтову надоело в тылу торчать, полк принял!

— Такому, как он, лучше занимать более спокойную должность. Интересно, зачем ему нужен полк или для чего он полку? — встрял в наш разговор водитель.

— Как для чего! — воскликнул Рыкулин. — А как же ему выдвинуться! Его друг генерал сказал, что полк — это основная единица. И если не будешь командовать полком, тебя даже на полковника не представят... и не выдвинут... Потому он и захотел командовать. Думает, покомандую немного...

— Не знаю, выдвинут ли, но понизят наверняка. Как только раскусят, понизят, — убежденно произнес водитель.

Они были правы. В самом деле, нередко солдаты видят дальше своих командиров.

«Вот, оказывается, где собака зарыта», — подумал я и только сейчас понял, почему Яхонтов вдруг так рьяно захотел командовать полком, то есть «подоплеку» всего этого, как любил говорить сам Яхонтов.

Было уже темно, когда мы прибыли в штаб.

Я попрощался с водителем и Рыкулиным, велел им воз-

вращаться, но Рыкулин отказался. Он сказал, что поможет мне устроиться и только потом уедет. Я не ждал от него такой заботы, и мне, признаться, это было приятно.

Сержант куда-то исчез, а вскоре ко мне пришел дежурный по штабу, который должен был отвести меня на ночлег.

Когда на прощание я протянул сержанту руку, он особенно крепко пожал ее и сказал:

— Спасибо вам, товарищ майор.

— За что? — удивился я.

— Скажу, когда еще встретимся.

Я улыбнулся: сержант говорил «еще встретимся», словно мы находились не на войне, а в санатории.

— Встретимся ли?

— Только гора с горой не сходитя... — ответил он мне и скрылся в темноте.

Дежурный по штабу проводил меня в землянку телефонистов и указал на свободную лавку. «Придется как-нибудь переночевать, — сказал он, — а завтра разберемся».

Я повалился на лавку и до самого утра беспокойно ворочался, как на вертеле.

Рано утром я снова пошел к уже знакомой мне землянке и сел на знакомую скамью возле синей двери.

Я ждал генерала, чтоб получить приказ о моем новом назначении.

Горькие думы одолевали меня. Кто знает, может быть мне откажут теперь даже в дивизионе и пошлют куда-нибудь...

Офицер, сидевший на другом конце скамьи, протянул мне какую-то книжку.

Зачитавшись, я и не заметил, как вошел начальник артиллерии. Не заметил, но догадался по тому, как вдруг смолк нестройный гул и во внезапно наступившей тишине стукнули каблучки: офицеры приветствовали генерала.

Строевой инстинкт и меня поднял на ноги.

Генерал никого не приветствовал, словно в комнате никого и не было. Он быстро прошел длинную землянку и когда поравнялся со мной, на мгновение остановил на мне взгляд.

— Явился?

Я вытянулся, но ничего не ответил.

Синяя дверь с шумом захлопнулась. Прошел час... другой... третий. Снова принесли газеты. Снова прочел я их от корки до корки. Никто обо мне не вспоминал.

Сидел я возле той же синей двери все на той же длинной скамье, но уже был сам не свой, нервы были на пределе...

— Смирно!.. — крикнул кто-то у входа в землянку.

Я невольно вздрогнул и вскочил на ноги; раз в присутствии Евжирюхина подавалась команда «смирно», значит в его штаб пожаловал более высокого ранга генерал.

Офицеры повскакали с мест и громко щелкнули подкованными каблучками.

В землянку вошел командующий артиллерией фронта, прославленный военачальник генерал-полковник Крюков.

Я тотчас узнал генерала, и сердце у меня тревожно забилось...

Генерал Крюков в плащ-палатке в сопровождении двух
незнакомых мне генералов, шел к синей двери.

Евжирюхин, видимо, тоже услышал команду, и не успел
Крюков дойти до середины землянки, как тот выбежал из
своей комнаты и вытянулся перед Крюковым.

Генералы встретились поблизости от меня.

Крюков не спеша снял с себя плащ, пожал руку Евжирю-
хину и приветствовал офицеров. Ему ответили дружно и громко.

Крюков оглядел присутствующих, скользнул взглядом по
мне и вдруг остановился.

— Подожди... подожди-ка, — произнес он басом и сделал
шаг ко мне, — неужели это ты?

И вдруг он стремительно рванулся ко мне. Сердце у меня
заколотилось от радости. Я не мог унять дрожь.

— Так точно, товарищ генерал-полковник! — с трудом
проговорил я.

Не успел я произнести эти слова, как генерал, точно кле-
щами, схватил меня своими сильными ручищами и, как ребенка,
привлек к себе.

На душе у меня потеплело, и я вмиг успокоился, как ус-
покаивается плачущий младенец на груди у матери.

— Я ищу тебя по всему фронту, да как долго ищу! Где
ты был, черт тебя дерн? — слышал я хриловатый бас Крю-
кова и испытывал необычайную радость. Он был огромного
роста, генерал Крюков, и я едва касался лбом его груди.

Удивленные офицеры, в том числе Евжирюхин, не спуска-
ли с нас глаз. Они ничего не могли понять. Генерал наконец
отпустил меня, сел на скамью и снова уставился на меня.

— После госпиталя меня послали в Карелию, в седьмую
армию, — это говорил не я, а мой голос, не спросив меня, мне
хотелось говорить совсем другое, иначе выразить несказанную
радость от неожиданной встречи.

— Помню, тебя ранило в колено, — прервал меня ге-
нерал, — но батарею ты не оставил... Ох ты, разбойник, —
генерал пхнул меня кулаком в живот и молодецки вскочил.

— Знаете ли вы, — обратился он к присутствующим в
комнате, — кто этот капитан? Простите, — улыбнулся он. —
Майор?! Его батарея 27 октября 1941 года, на подступах к
Тихвину остановила немецкий авангард, целый танковый ба-
тальон двенадцатой танковой дивизии и дала возможность
отступить частям нашей Четвертой армии! Тогда немцы взя-
ли Будогощ и шли на Тихвин, стремясь вторым кольцом окру-
жить Ленинград и соединиться с финнами. Генерал армии
Мерецков, член Военного Совета Пронин и я собственными
глазами следили за его боевыми действиями...

— Признаться, я не знал об этом, — с сожалением
произнес Евжирюхин.

— О бое, в котором участвовали батарея майора Хве-
дурели у села Сятмлия, в 30-ти километрах юго-западнее
Тихвина, я опубликовал в «Артиллеристе» специальную
статью. Тогда эту батарею только недавно перевели к нам
из 42-й армии, стоявшей у Ленинграда. Бой ему пришлось

принять еще в пути, даже не окопавшись!.. Не читали? —
сказал Крюков и оглядел всех.

Все молчали.

— Вижу, вы небольшие охотники до специальной литературы! — сказал генерал. — А жаль... «Артиллерист» единственный наш специальный журнал. Читайте, это ваш хлеб... — Потом обернулся ко мне: — Ты был награжден орденом Красного Знамени. Знаешь, наверное? — Узнав, что для меня это новость, с сожалением добавил: — Когда было, чтобы отдел кадров вовремя делал дело! Сукины сыны... Пошли со мной, — хитро подмигнув мне, он толкнул синюю дверь и вошел к Евжирюхну.

Я пропустил генералов и вслед за ними шагнул в крохотную комнатку, отгороженную от землянки.

— Николай Петрович, — обратился он к Евжирюхину, — вы намеренно жаловались, что я отнял у вас начальника штаба артиллерии и до сих пор не дал замены.

— Так точно, — растерянно ответил Евжирюхин.

— Так вот, — Крюков положил руку мне на плечо и легонько подтолкнул вперед, — вот вам начальник штаба! Лучшего ни вы не найдете, ни я вам не смогу разыскать.

Не возьми я себя в руки, я бы, наверное, заплакал. Не от радости, нет, от чувства благодарности и признательности к этому благородному и смелому человеку.

— Понятно, — неохотно проговорил Евжирюхин.

— А теперь иди, — повернулся ко мне Крюков. — Вернемся от командующего армией, генерал Евжирюхин проведет тебя по приказу. Ну, сам знаешь, смотри, не подведи...

Я вышел.

Меня тотчас окружили офицеры штаба и забросали вопросами. Перебивая и опережая друг друга, пожимали мне руку, поздравляли. Я с трудом выбрался из окружившего меня плотного кольца и снова сел на скамейку возле синей двери.

Удивительно, но все вокруг вдруг изменилось, землянка оказалась мне уютнее, чем прежде, и даже грубая скамья казалась удобной, как кресло.

Выйдя от Евжирюхина, Крюков отыскал меня глазами, подошел ко мне, снова положил мне на плечи свои огромные руки и, смотря в глаза, тихо спросил:

— Мне толком не объяснили, но на тебя жалуются. Это верно, что о тебе говорят?

— Нет! — воскликнул я так убедительно, что Крюков ничего больше не спросил, покачал головой и сказал назидательно:

— Ну смотри, если до сих пор ты командовал одним полком, теперь у тебя будет больше десяти. Командуй смело, умно, умело! Я буду следить. Понял? — И он протянул мне свою сильную, огромную руку. Я еще долго помнил его волевое, крепкое рукопожатие.

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ

Окончание следует

да, это... Одним словом, хорошо было бы, если бы вы сегодня же уехали... Нет, не думайте, что я... Разумеется, можете сделать это и завтра, но... Одним словом, машина готова и обратиться вам поможет сержант Рыкулин.

Я сам желал только одного — как можно скорее покинуть полк.

Двадцать километров мы проехали молча. Погруженный в свои мысли, я даже забыл, что позади меня сидит сержант Рыкулин.

— Наверное, вы думаете, что я рад вашему уходу из полка, — услышал я и оглянулся. Сержант Рыкулин, наклонившись вперед, смотрел на меня широко раскрытыми глазами.

— А что, ты хочешь сказать, что тебе жаль?..

— Конечно.

— Почему?

— Людей жалко. Яхонтов не сможет командовать. И себе дело испортит, и людям...

Я промолчал. Да и что я мог ответить? Он был прав, но говорил ли он это от чистого сердца, этого я не знал.

«С чего это он вдруг разоткровенничался?» — подумал я.

— Я не останусь у подполковника... — проговорил вдруг Рыкулин.

— Куда же ты пойдешь?

— На батарею.

— Что, довел тебя до ручки подполковник?

— Наоборот, подполковник не хочет меня отпускать. Я сам решил уйти на батарею... А коли я решил, не поверну назад. Хватит, люди медали и ордена получают, а я бегаяю, как прислуга. Вы думаете, я хуже других?

Я снова оглянулся. Он сидел в прежней позе, наклонившись вперед, и по-прежнему смотрел на меня широко открытыми глазами.

— Ты прав! Мужчина должен заниматься мужским делом.

— Видите, и Яхонтову надоело в тылу торчать, полк принял!

— Такому, как он, лучше занимать более спокойную должность. Интересно, зачем ему нужен полк или для чего он полку? — встрял в наш разговор водитель.

— Как для чего! — воскликнул Рыкулин. — А как же ему выдвинуться! Его друг генерал сказал, что полк — это основная единица. И если не будешь командовать полком, тебя даже на полковника не представят... и не выдвинут... Потому он и захотел командовать. Думает, покомандую немного...

— Не знаю, выдвинут ли, но понизят наверняка. Как только раскусят, понизят, — убежденно произнес водитель.

Они были правы. В самом деле, нередко солдаты видят дальше своих командиров.

«Вот, оказывается, где собака зарыта», — подумал я и только сейчас понял, почему Яхонтов вдруг так рьяно захотел командовать полком, то есть «подоплеку» всего этого, как любил говорить сам Яхонтов.

Было уже темно, когда мы прибыли в штаб.

Я попрощался с водителем и Рыкулиным, велел им воз-

вращаться, но Рыкулин отказался. Он сказал, что поможет мне устроиться и только потом уедет. Я не ждал от него такой заботы, и мне, признаться, это было приятно.

Сержант куда-то исчез, а вскоре ко мне пришел дежурный по штабу, который должен был отвести меня на ночлег.

Когда на прощание я протянул сержанту руку, он особенно крепко пожал ее и сказал:

— Спасибо вам, товарищ майор.

— За что? — удивился я.

— Скажу, когда еще встретимся.

Я улыбнулся: сержант говорил «еще встретимся», словно мы находились не на войне, а в санатории.

— Встретимся ли?

— Только гора с горой не сходится... — ответил он мне и скрылся в темноте.

Дежурный по штабу проводил меня в землянку телефонистов и указал на свободную лавку. «Придется как-нибудь переночевать, — сказал он, — а завтра разберемся».

Я повалился на лавку и до самого утра беспокойно ворочался, как на вертеле.

Рано утром я снова пошел к уже знакомой мне землянке и сел на знакомую скамью возле синей двери.

Я ждал генерала, чтоб получить приказ о моем новом назначении.

Горькие думы одолевали меня. Кто знает, может быть мне откажут теперь даже в дивизионе и пошлют куда-нибудь...

Офицер, сидевший на другом конце скамьи, протянул мне какую-то книжку.

Зачитавшись, я и не заметил, как вошел начальник артиллерии. Не заметил, но догадался по тому, как вдруг смолк нестройный гул и во внезапно наступившей тишине стукнули каблуки: офицеры приветствовали генерала.

Строевой инстинкт и меня поднял на ноги.

Генерал никого не приветствовал, словно в комнате никого и не было. Он быстро прошел длинную землянку и когда поравнялся со мной, на мгновение остановил на мне взгляд.

— Явился?

Я вытянулся, но ничего не ответил.

Синяя дверь с шумом захлопнулась. Прошел час... другой... третий. Снова принесли газеты. Снова прочел я их от корки до корки. Никто обо мне не вспоминал.

Сидел я возле той же синей двери все на той же длинной скамье, но уже был сам не свой, нервы были на пределе...

— Смирно!.. — крикнул кто-то у входа в землянку.

Я невольно вздрогнул и вскочил на ноги; раз в присутствии Евжирюхина подавалась команда «смирно», значит в его штаб пожаловал более высокого ранга генерал.

Офицеры повскакали с мест и громко щелкнули подкованными каблуками.

В землянку вошел командующий артиллерией фронта, прославленный военачальник генерал-полковник Крюков.

Я тотчас узнал генерала, и сердце у меня тревожно забилось...

Генерал Крюков в плащ-палатке в сопровождении двух
незнакомых мне генералов, шел к синей двери.

Евжирюхин, видимо, тоже услышал команду, и Крюков
Крюков дойти до середины землянки, как тот выбежал из
своей комнаты и вытянулся перед Крюковым.

Генералы встретились поблизости от меня.

Крюков не спеша снял с себя плащ, пожал руку Евжирю-
хину и приветствовал офицеров. Ему ответили дружно и громко.

Крюков оглядел присутствующих, скользнул взглядом по
мне и вдруг остановился.

— Подожди.. подожди-ка, — произнес он басом и сделал
шаг ко мне, — неужели это ты?

И вдруг он стремительно рванулся ко мне. Сердце у меня
заколотилось от радости. Я не мог унять дрожь.

— Так точно, товарищ генерал-полковник! — с трудом
проговорил я.

Не успел я произнести эти слова, как генерал, точно кле-
щами, схватил меня своими сильными ручищами и, как ребенка,
привлек к себе.

На душе у меня потеплело, и я вмиг успокоился, как ус-
покаивается плачущий младенец на груди у матери.

— Я ищу тебя по всему фронту, да как долго ищу! Где
ты был, черт тебя дери? — слышал я хрипловатый бас Крю-
кова и испытывал необычайную радость. Он был огромного
роста, генерал Крюков, и я едва касался лбом его груди.

Удивленные офицеры, в том числе Евжирюхин, не спуска-
ли с нас глаз. Они ничего не могли понять. Генерал наконец
отпустил меня, сел на скамью и снова уставился на меня.

— После госпиталя меня послали в Карелию, в седьмую
армию, — это говорил не я, а мой голос, не спрося меня, мне
хотелось говорить совсем другое, иначе выразить несказанную
радость от неожиданной встречи.

— Помню, тебя ранило в колено, — прервал меня ге-
нерал, — но батарею ты не оставил... Ох ты, разбойник, —
генерал пхнул меня кулаком в живот и молодцевато вскочил.

— Знаете ли вы, — обратился он к присутствующим в
комнате, — кто этот капитан? Простите, — улыбнулся он. —
Майор?! Его батарея 27 октября 1941 года, на подступах к
Тихвину остановила немецкий авангард, целый танковый ба-
тальон двенадцатой танковой дивизии и дала возможность
отступить частям нашей Четвертой армии! Тогда немцы взя-
ли Будогощ и шли на Тихвин, стремясь вторым кольцом ок-
ружить Ленинград и соединиться с финнами. Генерал армии
Мерецков, член Военного Совета Пронин и я собственными
глазами следили за его боевыми действиями..

— Признаться, я не знал об этом, — с сожалением
произнес Евжирюхин.

— О бое, в котором участвовали батарея майора Хве-
дурели у села Сяткомля, в 30-ти километрах юго-западнее
Тихвина, я опубликовал в «Артиллеристе» специальную
статью. Тогда эту батарею только недавно перевели к нам
из 42-й армии, стоявшей у Ленинграда. Вой ему пришлось

принять еще в пути, даже не окопавшись!.. Не читали? — сказал Крюков и оглядел всех.

Все молчали.

— Вижу, вы небольшие охотники до специальной литературы! — сказал генерал. — А жаль... «Артиллерист» единственный наш специальный журнал. Читайте, это ваш хлеб... — Потом обернулся ко мне: — Ты был награжден орденом Красного Знамени. Знаешь, наверное? — Узнав, что для меня это новость, с сожалением добавил: — Когда было, чтобы отдел кадров вовремя делал дело! Сукины сыны... Пошли со мной, — хитро подмигнув мне, он толкнул синюю дверь и вошел к Евжирюху.

Я пропустил генералов и вслед за ними шагнул в крохотную комнатку, отгороженную от землянки.

— Николай Петрович, — обратился он к Евжирюхину, — вы намеренно жаловались, что я отнял у вас начальника штаба артиллерии и до сих пор не дал замены.

— Так точно, — растерянно ответил Евжирюхин.

— Так вот, — Крюков положил руку мне на плечо и логонько подтолкнул вперед, — вот вам начальник штаба! Лучшего ни вы не найдете, ни я вам не смогу разыскать.

Не возьми я себя в руки, я бы, наверное, заплакал. Не от радости, нет, от чувства благодарности и признательности к этому благородному и смелому человеку.

— Понятно, — неохотно проговорил Евжирюхин.

— А теперь иди, — повернулся ко мне Крюков. — Вернемся от командующего армией, генерал Евжирюхин проведет тебя по приказу. Ну, сам знаешь, смотри, не подведи...

Я вышел.

Меня тотчас окружили офицеры штаба и забросали вопросами. Перебивая и опережая друг друга, пожимали мне руку, поздравляли. Я с трудом выбрался из окружившего меня плотного кольца и снова сел на скамейку возле синей двери.

Удивительно, но все вокруг вдруг изменилось, землянка показалась мне уютнее, чем прежде, и даже грубая скамья казалась удобной, как кресло.

Выйдя от Евжирюхина, Крюков отыскал меня глазами, подошел ко мне, снова положил мне на плечи свои огромные руки и, смотря в глаза, тихо спросил:

— Мне толком не объяснили, но на тебя жалуются. Это верно, что о тебе говорят?

— Нет! — воскликнул я так убедительно, что Крюков ничего больше не спросил, покачал головой и сказал назидательно:

— Ну смотри, если до сих пор ты командовал одним полком, теперь у тебя будет больше десяти. Командуй смело, умно, умело! Я буду следить. Понял? — И он протянул мне свою сильную, огромную руку. Я еще долго помнил его волевое, крепкое рукопожатие.

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ

Окончание следует

БЕЛАЯ И ЧЕРНАЯ АРАГВИ

В Белой — в будущее вера.
В Черной — ненависть к врагу.
В Белой — слез грузинских мера.
В Черной — кровь на берегу.
В Белой — Грузии дыханье.
В Черной — смерть ее врагов.
В Черной — прошлое, страданье.
В Белой — завтрашнего зов.

* * *

На БАМе работают советские машины «КамАЗы», немецкие «Магирусы», японские подъемные краны «Като», американские бульдозеры...

О БАМе
еще я немало
сумею сказать:
здесь столько событий —
о всех не поведаешь сразу!..
Но нынче
хочу говорить я
опять и опять:
— Немецкий «Магирус»
стоит
рядом с нашим «КамАЗом»!
И,
словно бы атомной бомбы
не помнит никто,
с веселым урчаньем,
как желтая туча в предгрозе,
здесь,
рядом с японской техникой
фирмы «Като»,
работает
американский бульдозер.
Но мне-то —
хоть дружбе машин

я несказанно рад —
никак не забыть
то, что в сердце болит,
то, что было:
ведь все еще,
все еще
ищет солдат,
пропавший без вести,
свою —
под звездюю —
могилу!
Я слышу,
я слышу,
как плачет солдатская мать,
и танки немецкие мчатся —
я слышу:
«Нах остен!».
И кровь
так присохла,
что не отодрать
от гусениц танков,
та кровь
стариков
и подростков!..
Да, годы прошли,
их следы
затуманила даль,
но боль все живет и живет,
ни на миг не стихая...
О, боль человечества —
вечная боль —
Бухенвальд...
Освенцим —
в душе не стихает.
В душе не стихает —
Дахау...
И совесть
струной оборвалась —
ей тоже звенеть
такою же болью —
и жить
уже невыносимо:
с пути человечества
как мы сумеем стереть
тот памятник варварству,
имя чему —
Хиросима?!.
...О БАМе
еще я немало
сумею сказать:
здесь столько событий
о всех не поведаешь сразу!..
Но нынче

хочу говорить я
опять и опять:
— Немецкий «Магирус»
стоит
рядом с нашим «КамАЗом!»
И,
словно бы атомной бомбы
не помнит никто,
с веселым урчаньем,
как желтая туча в предгрозье,
здесь,
рядом с японскою техникой
фирмы «Като»,
работает
американский бульдозер..
О, как я хочу,
чтобы те,
кто поверил во тьму,
вражду
и войну,
увидали б
содружество это!..
Я землю Сибири,
как знамя,
в стихах
подниму:
смотрите,
учитесь
и так поступайте,
народы планеты!

* * *

*Владимиру Хартшвили —
чабану.*

Не забыл ты честь, отвагу
и забыть ты их не сможешь, —
просто юность по эйлагу¹
ты пустил бродить, как лошадь.
«Трудно гнать отару?» — спросят.
«Волки, — скажешь, — не младенцы!..
Щедр душой ты, словно осень,
словно праздник, щедр ты сердцем.
Жить и жить тебе — все мало,
чтоб года тебя согнули!

¹ Горное пастбище.

Речь твоя — удар кинжала,
взгляд — нацеленная пуля.
Не забыл ты честь, отвагу
и забыть ты их не сможешь, —
просто юность по эйлагу
ты пустил бродить, как лошадь.



ШАТИЛИ

О Шатели думаю все чаще...
Боль — канат... На нем я — акробатом...
Кажется мне женщиной кричащей
то, что было крепостью когда-то.

Тех развалин, той земли бесплодной
ничего страшнее мне не снится.
То, что было окнами, — сегодня
череп бездонные глазницы.

Кто-то все причины изучает
древних войн — побед и поражений,
а трава волною заливаet
лестницы шербатые ступени.

Я смотрю на рухнувшие своды —
сердце от тоски спасенья ищет.
Черные останки дымоходов,
как кресты, стоят над пепелищем.

Камни облепихой облепило —
шкурою осенних листьев бурых.
Тишина по мертвому Шатели
ходит победителем Тимуром.

ПЕСНЯ ПАРНЯ ИЗ МЕСХЕТИ

Резо Тамазашвили.

Барабан и гармонь в ночи —
растревожен таежный мир...
Это песня в тайге звучит —
в ней тоска по тебе, Наир!

Небо здесь не гасит зарю,
не уходит ночь в темноту —

эту ночь я тебе дарю.
словно свадебную фату.

Я в тайге еще покружу,
если верить календарю, —
имя доброе заслужу
и его — тебе подарю!

Обещаний первых пора, —
вспоминаю ее — легко!..
Что мне холод, и что жара?!.
Горе: ты сейчас далеко..

Твердо верю в любовь свою —
лишь твоей бы не гас огонь, —
оттого-то, когда пою,
и тоскует моя гармонь!

А еще начну вспоминать —
боль на сердце ляжет свинцом:
как твоя поживает мать,
не случилось ли что с отцом?..

Мне дороже любых наград
видеть свет твоей красоты.
Ты, Наир, — и моя жара
и мороз — это тоже ты!..

Перевод Владимира ТОРОПЫГИНА

Владимир ОСИНСКИЙ

ЗВЕЗДЫ, В ЛИЦО ЛЕТЯЩИЕ

● П о в е с т ь

— У вас все? Тогда садитесь.
(Из реплики председателя собрания).

I

За маленьким высоким окном прощально кричали птицы. Они набрасывали стремительные черные нити на голубой клочок неба. Птицы металась, подгоняемые сумерками, а за стеной, растворяя все звуки, рокотали, выли, ревели испытываемые моторы.

Я разбирал металлический хлам.

Ключ сорвался, я ударился о что-то твердое и колючее. Задохнувшись от боли и злости, прижал руку к губам. В рту стало горячо и солено.

— Это не дело, — спокойно сказал голос за спиной. — Сходи в медпункт — во дворе направо, второй этаж...

Я обернулся. Рядом стоял невысокий парень в чистой поношенной спецовке; из-под нее выглядывал белый воротник сорочки. Поразмыслив секунду, я со злым удовлетворением вытер измазанный какой-то дрянью ключ о брюки — осталось черное нахальное пятно. Потом я сказал:

— Работа есть работа. Всякие там разговорчики и дружеское участие — просто пижонство.

У парня потемнели глаза, но он просто отвернулся от меня и неторопливо пошел к выходу.

Ключ в кулаке сделался теплым и липким. Я швырнул его в грудку деталей.

Тогда рядом, где работали старшеклассники, проходившие на заводе производственную практику, зазвенел безжалостный смех. Смеялась маленькая, с толстыми косами, с четким и нежным лицом. От злости я увидел ее сразу всю. Девушку испуганно дернули сзади.

С меня было достаточно. Это был мой первый день на заводе...

Сначала я отказался от ужина. Но мать смотрела улюлююще, и я нехотя, почти с отвращением, глотал одну за другой ложки бульона. Потом вдруг ощутил собачий голод, налился себе еще. Мать молчала, но я знал, что она наблюдает за мной.

Я ушел в свою комнату. После отца она принадлежала мне, и хотя была маленькой, служила хорошим убежищем от материнских забот. Однако мать постучала сейчас же.

Я молча уселся на кровати и стал ждать.

Она неуверенно спросила:

— Ну, как, Гоги?

— Что «как»?

Мать затеребила рукав старого халата:

— Как у тебя на новой работе?

Она говорила — и словно заранее за что-то извинялась. Это всегда вызывало во мне невыносимо запутанное чувство острой жалости, ощущение собственной вины и — больше всего — раздражение. Обычно последнее одерживало верх над всем остальным.

— Знаешь, что, мама, — сдержанно сказал я. — Ложись-ка ты лучше спать... И я тоже с ног валюсь.

Она все сидела. Так же теребила серенькую байку халата — в последние годы, даже самой ранней осенью, ее знобило по вечерам — и смотрела в угол. Что я мог сделать? Жалость росла во мне — и только. Ничего она не умела понять, я был в этом уверен и не винил ее. Когда-то она успела закончить восемь классов, всю жизнь шила, надорвалась за годы войны, когда делили на двоих чайную ложку сахарной пудры, а то, что случилось с отцом, окончательно добило ее... Мать работала на меня и никогда не жаловалась на многочисленные болезни.

И все-таки она ничего не могла понять.

— Спокойной ночи, — мать легонько вздохнула. — Утро вечера мудренее.

Я знал, что она скажет что-нибудь вроде этого.

Я бросил на спинку кровати куртку, брюки, в одних трусах уселся перед открытым окном. Внизу бормотала улица. Троллейбусы плыли с неторопливой важностью, и было что-то самодовольное в их тупых очертаниях. Пахнуло ночью. Стало прохладнее и легче. Стол с заветными тетрадами. Черная, неподвижная рука лампы, ковшиком согнувшая пальцы; из него лился желтый свет. Старая кровать и тонкое лицо Блока на стене. Портрет был здесь, потому что я любил этого грустного и мудрого поэта, а также назло Ивану Вашакидзе — моему соседу, комсоргу нашего цеха. Он всегда пилил меня за «оторванность от могучих и прекрасных наших дней» и наконец предложил устроить на этот окаянный завод.

Я достал из ящика чистую тетрадь — терпеть не мог начатых — и раскрыл ее.

Хотелось написать о хорошем, смелом, красивом. Мне сразу представилась маленькая горная деревня, где родился отец и куда так и не успел свозить меня. Конечно, она бы-



96.1935341
312347 01333

да вся в зелени, и снежные вершины вокруг напоминали зочные сахарные головы. Но прилетал с них холодный веселый ветер, и тогда они оживали и уже не казались декоративными. Деревня опиралась на крутой берег очень быстрой и очень прозрачной речки, которая ныряла под узкий бревенчатый мост и с шумом мчалась дальше — к другой реке, побольше, чтобы добраться с ее помощью до самого моря.

Рано утром небо смотрело холодно, горы дышали холодом, и вода в речке зябко собиралась морщинами. Молодой и сильный человек, наверно школьный учитель, встретился за мостом с длинноглазой быстрой девушкой. Он звал ее Ласточкой, они уходили по мокрой тропинке все дальше в лес, и девушка, опустив ресницы, слушала, как ее любят. Потом их притянула к себе высокая молчаливая сосна, девушка беспомощно, словно прося поддержки, прижалась к ней узкой спиной, а он склонялся все ближе к лицу любимой.

Мне очень хотелось, чтобы у них все получилось хорошо. Но мой молодой и сильный человек оказался таким только с виду. На деле он был вывернутым и начитавшимся всякой дряни ночным писакой вроде меня. Вместо того, чтобы поцеловать эту хорошую девушку и повести ее за руку за собой, он увидел, что у нее неровные и жадные зубы, прочел уверенное и терпеливое ожидание в изгибе раскрывшихся губ...

Дальше мне самому до того стало противно, что я поспешно захлопнул тетрадь, не глядя закинул ее в ящик стола и лег в постель. Разумеется, сон и не думал приходить. Я курил сигарету за сигаретой. В груди собиралась мерзкая горець.

Одна ночь была прекрасна. Звезды смотрели ясно и строго. Верно, там хорошо, подумал я.

Утром болела голова, я словно в зеркале видел муть своих глаз и не мог отделаться от ощущения стыда за дешевые ночные мыслишки. Мне уже давно не приносило радости утро. Казалось, никогда.

Георгий Михайлович пришел под вечер. Постоял у окна, непонятно улыбаясь, поглядел, как ползут по стеклу вялые струйки. Была уже настоящая осень. Не та, золотая, которая всегда хороша в нашем городе, а серая и слезливая.

Нехотя опустившись на стул, он сказал:

— Лень жить...

Мне нравилось, как он разговаривает и держится. Он мне казался по-настоящему умным человеком, и я завидовал его уверенности в себе, спокойной силе, манере мыслить.

— Видите ли, друг мой, — продолжал Георгий Михайлович, — когда приходит осень, природе уже нечем прикрывать свою подчас неприглядную наготу. И вместе с природой обнажаются люди, и жизнь становится довольно скверно. Особенно если ты имел несчастье родиться с умом и совестью. Поэтому в подобные вечера я люблю сидеть в ресторане. Своеобразное убежище...

Я слушал его. Мне нравилось слушать, потому что то же самое смутно вертелось сегодня в голове у меня. Он за ключил:

— Предлагаю зайти в ближайший спокойный уголок и поболтать.

Я охотно снял с гвоздя свой старенький плащ. Сегодня была получка, мне хотелось однажды самому, наконец, угодить Георгия Михайловича.

Голубой «фиат» стоял у подъезда.

— К звездам? — Георгий Михайлович улыбнулся своей обычной неопределенной улыбкой.

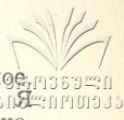
Дождь кончился внезапно, будто там, далеко наверху, перекрыли глухой заслонкой гигантское сито.

Машина легко шла вверх по спирали гладкого, как паркет, шоссе. Все больше дрожащих огней рождалось внизу. Город рос, наполнялся призрачной красотой. Были в ней чистота ранней ночи, неожиданная — ведь город все еще дышал шумно и сильно — задумчивость, непонятная отрешенность от суетливой дневной поступи. Я подумал, что какой-то зыбкий огонек в море этой электрической россыпи — свой, спрятанный от чужих глаз, особый мир, и, конечно, живет в нем не один такой вот, вроде меня, тип и носится со своими не очень ясными мыслями и чего-то ждет и на что-то надеется, и бьется головой о холодную стену убежденности, что никто его до конца не поймет.

Ветер, изловчившись на повороте, хлестнул меня по руке, вырвал сигарету. Я посмотрел вслед гаснущей, дробящейся звездочке, стремительно улетающей назад. Словно чья-то заблудшая душа, подумал я, умирает одна.

Георгий Михайлович отлично вел машину. Я любил хорошую езду и года два занимался в мотоклубе. Потом надоело — слишком уж много приходилось возиться с машиной, чтобы она не подвела на трассе. Однако порою во мне просыпалось беспокойное желание ощутить покорную и жаркую мощь мотора и подставить ветру лицо.

— Каждый из нас, — негромко заговорил Георгий Михайлович, глядя на шоссе, — каждый из нас живет, если можно так выразиться, в двух аспектах. Один — я бы назвал его порожденным будничной необходимостью — внешний. Он обусловлен требованиями общения с людьми... да-да, именно требованиями общежития. Представьте хотя бы такую ситуацию. Вы — рабочий, у вас — первый день жизни в коллективе. Вы еще очень неопытны и потому, естественно, неловки во всем — в умении владеть инструментом, ладить с людьми, которые трудятся вокруг вас и уже чувствуют себя в своей тарелке. Чего же стоят в такой обстановке ваши обожаемые мысли, смутные ощущения, которыми вы дорожите больше, чем всеми богатствами Вселенной, ваше глупо обожаемое, неповторимое «я»? Абсолютно ничего! Вы забываете обо всем этом и подчиняете себя одному стремлению — не попасть в неловкое положение, не показаться смешным, словом — при-спо-собиться! А второй, главный аспект...



Я слушал его внимательно, и во мне росло болезненное, очень горькое ощущение собственной неполноценности. Я слушал — и на душе у меня становилось смутно и нехорошо.

Сухо щелкнула дверца. Георгий Михайлович обронил: — Вы, пожадуйста, присмотрите.

Сторож неподвижно сидел на скамье у начала белой широкой лестницы.

Половина столиков под навесом была пуста. Мы выбрали самый дальний. Он стоял на краю площадки, у барьера, за которым, сорвавшись с обрыва, разлегся внизу город.

Ночь зябко куталась в голубую дымку.

...Мы, мое поколение и я, родились после войны, и вместе с первыми крупницами самосознания в нас родилась жгучая зависть к тем, кто отстоял Мир, Справедливость, Человечность. Чистоту на Земле. Мы горько сожалели о том, что нам не посчастливилось оказаться лицом к лицу с ненавистным врагом и убить его, а если надо — умереть и самому, но победить. Этому нас учили книги, школа, взрослые.

Неутоленная — и неутолимая жажда подвига выливалась в разные формы, пусть подчас смешные (тому, кто успел забыть собственное детство), порою наполненные и нешуточным риском — пусть бессмысленным, зато подлинным.

И мы удирали с уроков, чтобы отправиться на набережную или в кино, или — позднее — в публичную библиотеку. И мы прыгали на сумасшедшей скорости на подножку трамвая, чтобы доказать девчонкам и самим себе свое бесстрашие и презрение к смерти (однако мир, менявшийся во всем, изменился и в этом: старенькие открытые вагончики уступили место более совершенным — у них автоматически закрывались двери, и прыгать на ходу стало практически невозможным; а кроме того, мы незаметно взрослели).

Вместе с начинающейся зрелостью к нам пришла обостренность восприятия окружающего мира. Не то инстинктивное, как у котенка или щенка, любопытство ко всему и всем. Нет, это было пусть еще не до конца осмысленное, лишенное целостности и целенаправленности, но необычайно властное стремление увидеть и понять сущность вещей и явлений, составляющее сердцевину, начало-начал Юности.

И тогда многих — на первых порах поверхностно, через преходящие, смутные ощущения, затем острее и глубже — стала тревожить мысль: что-то не то, что-то чужое, порой даже враждебное неслышно входило в жизнь... Нет, в целом, мы не сомневались: действительность, настоящее и будущее — таковы, какими учили нас видеть и представлять их школа, родители, книги, пионерский отряд и комсомольское собрание. Росли заводы, страна неудержимо шагала вперед, хорошел родной город, далекий Космос впервые пожал протянутую Человеком руку, и веселее смеялись люди, и все, казалось, было так, как надо и как нам обещали... И тем не менее мы все сильнее ощущали затаенное присутствие в нашей жизни чужого — злобно и сыто исподтишка ухмыляющегося и самодовольно потирающего пухлые потные руки...

Меня все чаще посещали эти смутные мысли. И может, именно потому сегодня ночь особенно забко куталась в голубую дымку? Не знаю.

И
0419353210
30220110333

Георгий Михайлович сидел, чуть сторбившись, но даже это у него получалось красиво. Поникие плечи и небрежно брошенная на спинку кресла, словно забытая, рука... Как символ умной усталости и легкой привычной грусти.

— Красота какая, Гоги, — сказал он, — эти огненные джунгли внизу. И немножко страшно: ведь каждый огонек — совершенно обособленный, замкнутый в себе мир. Чьи-то судьбы, надежды, горести... разве охватишь все?

Я, кажется, вздрогнул. Ведь только что сам подумал так...

— Простите меня, молодой человек, но у вас очень характерный профиль...

Мы обернулись. Стоял низенький человек, держал в полупротянутой руке раскрытый альбом с насаженными, как насекомые на булавки, черными бумажными профилями. Человек ждал терпеливо, равнодушно, а на его остром лице с крупным носом была странная смесь почтительности и совершенно откровенной насмешки.

— Всего три рубля... Ах, извините, столько лет прошло, да вот все никак не привыкну к новым деньгам. Тридцать копеек выходит, чувствуешь себя потому обиженным и хочется, так сказать, по-старому мыслить... Итак, портретик за какие-то тридцать копеек?

Георгий Михайлович нахмурился. Я сказал:

— Спасибо, не надо.

Маленький человек еще раз окинул нас своим непонятым занскивающе-наглым взглядом, шагнул, остановился и уже обыкновенным голосом проговорил:

— Уму непостижимо! Уверен был—согласитесь, и на вот тебе! А ведь я по простоте своей считал себя подлинным физиогномистом.

В глазах Георгия Михайловича появилось выражение досады и брезгливой жалости.

— Ладно, — сказал он. — Согласен: увековечьте мой светлый образ на вашей черной, светонепроницаемой бумаге.

«Физиогномист» ловко заработал карандашиком. Он бросил на Георгия Михайловича лишь несколько беглых оценивающих взглядов, потом равнодушно отвел глаза — слово раз и навсегда выкинул его из памяти — и чиркнул ножницами. Мне даже обидно стало.

— Прошу вас!

Это было сказано с достоинством.

Я искоса глянул на «портретик». Работа была отличная. Клочок черной бумаги, резко выделяясь на белоснежном листке, удивительно точно воспроизводил действительно характерный профиль моего друга. (Глупо, подумал я, говорить «у вас характерный профиль». У каждого человека профиль характерный, иначе чем же один отличался бы от другого?). Но я видел гордую линию высокого лба, прямой, чуть остро-

ватый нос, правильный подбородок, и мне становилось не по себе. Это лицо, такое знакомое мне, сейчас немое, без выразительной игры черт, насмешливо-проницательного прищура глаз, казалось чужим и почти отталкивало. Я с усилием оторвал взгляд от столика. Георгий Михайлович скривил губы в улыбке:

— Глупо, неправда ли? Ну, что ж, каждый зарабатывает как может. Я, газетчик, пером. Он — ножницами...

Конечно, глупо, с облегчением решил я, просто выпил лишнего.

Георгий Михайлович привычным кивком подозвал официанта. Я поспешно полез в карман — мне так хотелось, чтобы он все понял. И он сразу оценил положение и, поднявшись, негромко сказал:

— Благодарю.

II

Ладо возник на пороге цеха весь сияющий, как Дед-Мороз. Только без бороды и шубы — в обычной своей аккуратной спецовке. Из-под нее выглядывал тот самый безукоризненно чистый белый воротничок, который в сочетании с его весело-уверенной манерой держаться и моим дурным настроением заставил меня сцепиться с ним в первый день работы. Снежинки быстро таяли в волосах Ладо.

— Где ребята?! — радостно заорал он.

Цех был пуст, как театр ночью. Я лениво поднялся с докonnика. Ладо обхватил меня за плечи и требовательно заявил:

— Если нет всех, слушай пока ты один!..

От него веяло влажным, мягким холодом нашей зимы. Он всегда, даже в редкие по-настоящему морозные дни, перебежал из цеха в цех без шапки, в одной спецовке, как был. Он решительно рубанул воздух:

— В общем, так: будет у нас вместо авторемонтного — автомобилестроительный. Сами начнем делать машины. И какие! Вот где можно будет развернуться, а?

— Да, — нехотя согласился я, — можно будет...

— Гогн, — сказал он серьезно, после молчания. — Мы — товарищи. Рядом работаем. Может, у тебя что-нибудь дома не в порядке? Или вообще... в жизни?

Я стряхнул его руку — чувствовал, что не выдержу и наговорю что-нибудь лишнее насчет его «дружеского участия и искреннего желания помочь». И не выдержал.

— Скажи, пожалуйста, Ладо, — осторожно подбирая слова, начал я. — Тебе когда-нибудь приходилось слушать по ночам часы и злиться и мучиться оттого, что ты не понимаешь, о чем и для чего они стучат и куда торопятся? Или смотреть на давно знакомого человека и беситься, не зная, что у него на уме? Или разглядывать в зеркале свою собственную физиономию и не уметь заставить себя поверить, что это ты — таким чужим вдруг покажется лицо? Или смотреть, смотреть до боли в глазах на звезды и завидовать им,

потому что они всегда холодные и спокойные и на все им плевать. Или...

Ладо бережно взял меня за локоть. Честное слово, мне шно, уж не решил ли он, что я реву? Но мне не было смешно. — Слушай, чудак, — сказал он добродушно. — Кажется, я понимаю, что с тобой. Ты просто не чувствуешь себя твердо на ногах. Это пройдет.

Тогда мне стало весело.

— Ладно, — протянул я ему руку. — Спасибо. До завтра. Я вышел. Мертвые пятна лампированных дрожали в лужах. Снег, с бессмысленной настойчивостью валивший с утра, к вечеру, как всегда, растаял. Ноги расползались в грязно-белой кашнице, идти было противно, а я все шел.

Я немного помедлил, прежде чем нажать кнопку звонка. Мне всегда было не по себе в обществе матери Лианы. В последнее же время, кажется, с тех пор как я начал работать на заводе, она относилась ко мне особенно сдержанно и предупредительно. Впрочем, я помнил ее столько же, сколько самого себя, и это, должно быть, давало ей определенные права. Я позвонил.

— А, Гоги, — приветливо сказала Венера Павловна. — Входи, милый. Садись вот сюда. Можешь пока посмотреть журналы. Лиана сейчас выйдет. Как здоровье мамы?

Неловко пробормотав что-то насчет того, что все в порядке, я сел на край большого соломенного кресла. В этом доме мне всегда почему-то хотелось садиться на самый край. Еще раз показав мне белый ряд безукоризненно ровных зубов, Венера Павловна вышла. Я знал, что зубы у нее — свои. Да и вообще она была сейчас точно такой же, как и лет пятнадцать назад. Удивительная способность у некоторых людей — все неприятности отталкиваются от них, как дождевые капли от прорезиненной ткани. Мне не очень нравились такие люди, но я много раз слышал от мамы, что мы страшно чем-то обязаны Венере Павловне. Кроме того, она была матерью Лианы.

Журналы на столике были преимущественно иностранные, в большинстве такие, где демонстрируются разные моды. Венера Павловна тоже, как и мама, шила на дому. Верно, она была искуснее, потому что заказчицы ломались к ней, как на прием к медицинскому светилу.

Я листал страницу за страницей, в душе злясь на Лиану: ну что у нее могли быть за такие дела, чтобы нельзя было выйти сейчас же? Потом мое внимание привлек высокий и очень элегантный молодой человек на обложке. Он весь светился широкой обаятельной улыбкой, прямо-таки на экран просился. Я невольно позавидовал его хорошему настроению.

Лиана бесшумно подошла сзади, закрыла мне глаза ладонями: угадай, мол, кто. Довольно глупо с ее стороны. Ну кто же еще мог в этом доме шутить подобным образом? Но мне было приятно прикосновение ее прохладных пальцев, от них веяло чистотой и свежестью. Я сдвинул ее руку к губам и поцеловал, и Лиана легонько чмокнула меня в затылок. Мы

с ней часто целовались где-нибудь в парке или в ее подъезде после кино, но дальше этого у нас не заходило.

— Почему ты не вышла сразу? — не слишком приветливо спросил я.

Лиана выскользнула из-за кресла, уселась — нога на ногу — на ярко-голубой пуф и лукаво уставилась на меня:

— А что?

Она мне не понравилась — в пестрой и прозрачной блузке.

— На бал собралась? — враждебно спросил я. Отчего-то я не мог сейчас назвать ее по имени.

Лиана захлопала в ладоши:

— Угадал, угадал! У нас в институте бал по случаю окончания зимней сессии. Хочешь, пойдем со мной? Я звонила вчера — тебя не было дома. А знаешь, кто будет меня провожать? Угадай еще раз, мастер угадывать!

Я оглядел себя. Помятые, без намека на складку, брюки. Синий свитер, куртка на «молнии». Перевел взгляд на ее новенькие сапожки, яркие, блестящие, будто на витрине. Дело было не в этом. Я мог успеть домой переодеться. Но я знал: ни черта она ко мне вчера не звонила — весь вечер я просидел дома. Больше того, я знал, что она с удовольствием пошла бы со мной и вчера просто забыла позвонить. Такое с ней бывало не раз. Я разозлился.

— Нет, — сказал я, глядя мимо ее сияющих глаз. — Нет, зачем же. Да и никого я там не знаю...

В передней позвонили.

— Вероятно, пришел Георгий Михайлович, — сказала Лиана.

Это не было для меня неожиданностью: ведь и познакомился я с ним именно здесь, в их доме. По правде говоря, одно время даже немного ревновал Лиану к Георгию Михайловичу. Потом устыдился этих мыслей — слишком старым он мне тогда казался. А вскоре мы с ним даже сдружились, если это можно было назвать дружбой.

Он вошел не один. В предупредительно раскрытую им дверь впорхнула довольно яркая дама. Кокетливо пропела «мерси», поздоровалась с Лианой («так это у Венеры Павловны такая прелестная дочь?»), мило улыбнулась в ответ на мой поклон и заскользила цепким взглядом по комнате.

— Очаровательно, — говорила она, — в Париже (мы с мужем побывали там прошлым летом) сейчас очень в моде эти фигурки черного дерева. Знаете, мне кажется, что даже на Западе все эти абстракционизмы уступают место подлинному искусству. Ах, эта фарфоровая обезьянка пленительна!

Я почему-то был уверен, что, восхищаясь всей этой деревянной и фарфоровой дрянью, яркая дама мгновенно определяет в уме стоимость каждой безделушки. Видимо, прямо пропорционально цифрам росло ее заочное уважение к хозяйке, которая по обыкновению (уж я-то знал повадки Венеры Павловны) заставляла себя ждать.

Мы встретились взглядом с Георгием Михайловичем. Он улыбнулся презрительно и грустно. Вошла сдержанно-приветливая Венера Павловна.

— Простите, я, кажется, замешкалась? — сказала она с достоинством.

К тому времени яркая дама была уже готова. Она зябко жала величественно протянутую Венерой Павловной руку почти благоговейно — так пожимают руки знаменитым тенорам. Дамы заговорили на свои крепдешино-шерстяные темы. Наконец, обе плюс Лиана удалились в другую комнату.

Георгий Михайлович задумчиво рисовал что-то на запотевшем стекле, потом поглядел на свой палец, старательно вытер его носовым платком.

— Вам будет очень трудно жить, Гоги, — проговорил он со своей неопределенной усмешкой, — если вы станете так близко все принимать к сердцу.

Право, он будто угадывал всегда мои мысли и состояние.

— Что же в таком случае делать? — спросил я.

— Откуда мне знать? Впрочем, есть одно испытанное средство — побольше смеяться.

Он сел боком на подоконник.

— Скажите, Гоги, каковы ваши планы в отношении Лианы?

Он еще никогда не говорил со мной так, а ведь я знал его уже года три, мы часто встречались с того дня, когда вторично познакомились на мотокроссе. У меня тогда рассыпался подшипник, пришлось сойти с трассы, я был здорово огорчен, так как рассчитывал на призовое место, и Георгий Михайлович (он был спецкором городской газеты, писал на любые темы и сам себя называл «вольным стрелком») принялся меня утешать. Но никогда до сих пор мы не касались личной жизни друг друга и болтали только на общие темы. Причем говорил, в основном, он — я больше слушал. Когда Георгий Михайлович спросил о Лиане, у меня внутри все как-то полобалось.

Пригладив длинными пальцами волосы, он сказал:

— Я вам расскажу один небольшой эпизод из времен, так сказать, Великой Отечественной войны. А вы пообещаете мне: то, что вы узнаете, никоим образом не отразится на ваших планах на будущее. Идет?

— Идет. — сказал я, ничего не понимая.

— Так вот. Было в те годы, как вы знаете, очень трудно жить. Иным приходилось совсем туго. Как вашей матери, например. А кое-кто сумел воспользоваться моментом и построил на этом свое благополучие. Такие люди не только сытно и вкусно ели и пили, они сумели даже обзавестись кое-какими далеко не дешевыми и даже бесполезными вещичками. Скажем, вот такого рода... — Георгий Михайлович широким жестом обвел зеркально-фарфоровое великолепие гостиной. Я послушно следовал глазами за его рукой.

— Короче, — сказал он, — в тяжелые годы войны одна предприимчивая дама организовала у себя на дому нечто вроде пошивочной мастерской. Она была портниха как все, не лучше других. Но, кроме того, владела неоценимым преимуществом — искусством создать себе репутацию. И вследствие того, что заказов у нее появилось много, одна она справить-

ся была не в силах, дама эта соткала вокруг себя своеобразную сеть поденщиц. Она передавала заказы другим портянщикам, которые шили не хуже, а нередко и лучше ее, но были лишены предприимчивости, и платила им за труд определенный — могу заверить вас, очень небольшой — процент с того, что получала от заказчиц. Последние ни о чем не подозревали, а «подопечные» предприимчивой дамы знали обо всем, но молчали, потому что дама искусно подбирала себе помощниц из числа безропотных, тихих женщин. Скажем, таких, как ваша мать...

Кровь бросилась мне в лицо. Шагнув от окна, Георгий Михайлович весело, громко сказал:

— Лиана, я боюсь, что царицу бала успеют выбрать прежде, чем мы приедем!

Он помогал Лиане надеть плащ, а она оживленно рассказывала о каком-то смешном случае на позавчерашнем экзамене. Мне было трудно дышать от ненависти и обиды: «...таких, как ваша мать»?!

— Лови! — крикнула Лиана и послала мне воздушный поцелуй. Георгий Михайлович молча наклонил голову.

Я остался.

Яркая дама, уже закончившая свои дела, никак не решалась уйти. Ее не выпускала из фарфоровых лапок белая обезьянка на книжном шкафу. Дама несла всякую чепуху. Она говорила сразу о спектаклях заезжей оперетки, о том, что где-то опять появились летающие тарелки (говорят, они все-таки не с Марса, а с Венеры), о радиоактивной морковке и возродившейся моде на шевровые туфли. Венера Павловна не проявляла никаких признаков нетерпения. Наконец яркой дамы не стало. Венера Павловна прошла через комнату — у нее был широкий, упругий, красивый шаг — и села рядом со мной на низкий диван.

— Я хотела, Гоги, поговорить с тобой о Лиане.

Может, ничего и не произошло бы. Меня вывел из себя ее голос, только голос — мелодичный, ровный и вкрадчивый. Сколько раз я слышал его, когда, маленького, она угощала меня конфетами или напутствовала нас с Лианой не объедаться мороженым, если, детьми, мы уходили вместе гулять. И только теперь я уловил главное в этом голосе — он был одновременно и мягок, и слащав, и настойчив, и обволакивал липкой паутиной.

— Я буду с тобой откровенна. Меня беспокоит судьба моей дочери. Ты пойми: Лиане скоро двадцать. В ее годы девушки становятся взрослыми, и им пора подумать о будущем. А ты еще очень молод и, не сердись на меня, ничего пока не успел добиться...

Я слушал, стиснув зубы. Нет, дело было не в Лиане, хотя я прекрасно понимал к чему все клонится.

А она, воображая, что я волнуюсь только из-за этого, старалась говорить как можно мягче и ласковее. Она вспоминала, как я мечтал стать журналистом и провалился на экзаменах, как поступил потом на библиотечарское отделение

и («слава богу!») сбежал оттуда, как потом «резко изменил свои намерения» и решил готовиться в политехнический. О, против всех этих поисков она ничего не имела. Она провинилась: юности нелегко найти свою дорогу. И она не теряла надежды, потому что любит свою дочь и отлично все видит.

Она и меня («о, ты, надеюсь, не сомневаешься в этом?») любит. Как родного. Ведь она-то знает все, знает, до чего трудно приходилось ее подруге-солдатке в суровые годы войны. Они были тяжелы для всех, но...

Мне это было известно не хуже, чем Венере Павловне. Конечно, подумал я с неожиданным юмором, с деталями я познакомился несколько позже, ну что ж, вполне естественно — даже когда война уже кончилась, меня еще не было на свете.

Из тумана, который меня окутал, плыл ровный голос Венеры Павловны:

— Не сразу стало легче жить... Ты, разумеется, не можешь помнить...

Да, я не помнил, однако знал — со слов матери, конечно, потому что ни войны, ни отца я помнить просто не мог. Отец попал в плен в начале сорок второго, и никто не знал, что с ним, и, только вернувшись, он рассказал все. Он был ранен, очнулся в загоне, заменявшем лагерь... Он рассказал, как удалось бежать, как дрался вместе с итальянскими коммунистами. Отец вернулся с итальянским орденом.

Оказывается, он очень хотел, чтобы я научился строить дороги. Ему пришлось слишком много ходить без дорог, а у него бодела простреленная нога.

Отца арестовали через два дня после моего рождения, и я его так и не успел увидеть.

— ...Но этот ужасный завод, — услышал я, очнувшись, приподнято-негодующий и все же мелодичный голос Венеры Павловны, — где у тебя нет будущего и вокруг — неинтеллигентные, грубые люди! Подумай, в каком кругу придется вращаться моей дочери? Для чего она изучает иностранные языки?

Собственно, говорить теперь было уже совершенно бессмысленно. Но я выложил ей все.

Она только презрительно усмехнулась:

— Мальчишка! Что ты знаешь о жизни?

Потом я впервые увидел, как суживаются ее глаза:

— Теперь — иди. И постарайся забыть о Лиане.

III

Нино где-то задержалась. Когда она вбежала в столовую, от окошка тянулся длинный хвост очереди.

— Ну, что ж, — грустно сказала она. — Обойдусь без мацони. Подумаешь!

Сам не знаю, чего ради я это сделал. Я поднялся, взял со столика свою еще не распечатанную бутылку и протянул ей. Секунду она сердито смотрела на меня. Потом вздернула нос:



— Спасибо!

— Не за что! — так же громко и совершенно невозмутимо ответил я. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись, и она с аппетитом проглотила мацони.

Но встретившись со мной у входа в цех, Нино сказала чрезвычайно холодно и официально:

— Кстати, должна сообщить тебе, что девятнадцатого в нашей школе состоится читательская конференция. Мы пригласили всех желающих с завода. Так что это касается и тебя. Подробности — в объявлении у проходной.

Чудное создание! Ощетинивается даже тогда, когда никто и не собирается ее тронуть.

Прошло около недели с того дня, как я разругался с Венерой Павловной. Тогда все для меня было ясным, я знал, что больше не приду в этот дом. Вечер приходил за вечером, и мне все труднее было не думать о Лиане. В конце концов это не шутка. Мы дружили с детства. Росли вместе. Однажды и сказал, что люблю ее. Ничего между нами не было решено, но мы знали, что в этом нет необходимости, и как-то привыкли думать, что в свое время все придет само собой. И конечно, привык я к ней очень сильно.

Поэтому сразу после гудка я поднялся в заводоуправление и позвонил Лиане.

— Алло? — оживленно спросила трубка — Алло-о? — нетерпеливо повторил голос Лианы, потому что я молчал, не зная с чего начать.

— Слушай, — сказал я немножко хрипло. — Это я. Понимаю, что догадываешься. Но мне сейчас не до салонного остроумия. Тут люди ждут, — соврал я; комната была пуста. — Нам надо повидаться. Сегодня же. И обо всем раз и навсегда поговорить.

— Право, — нерешительно протянула Лиана, — право, я не знаю... Если можешь, подойди к нашему углу, к тому, где «Гастроном», к семи. Мы подъедем с Георгием Михайловичем.

У меня мелко-мелко закололо правое веко. Так бывает иногда от неожиданности. В трубке щелкнуло — будто свет выключили.

Я постоял над телефоном, больно и методично кусая губы.

Ладо запер в ящик какие-то бумаги. Он отсутствующе поглядел на меня.

— А я такую, кажется, штуку придумал... Хотя все еще надо проверять и проверять.

Чудак. Он, видимо, решил, что и я тоже думаю над какими-нибудь «штуками». Иначе у него в голове не укладывалось, — чего еще ради человек может задержаться на заводе?

— Ладо, — без предисловий сказал я. — Мне нужна твоя помощь.

— А что? — оживился он.

— Мне надо, — как можно спокойнее сказал я, — что-

бы ты сегодня вечером совершил со мной небольшую прогулку на «фиате». Со мной и еще двумя моими... друзьями.

Ладо озабоченно почесал в затылке.

— Понимаешь, сегодня я собирался...

И, как порой бывает, я вдруг с ужасающей ясностью понял, что он мне совершенно, абсолютно необходим.

Ладо внимательно посмотрел на меня:

— Это очень важно?

Я кивнул.

— Когда и где?

Мы договорились встретиться в семь, на углу у «Гастронома».

Мне было безразлично куда ехать. Ладо тем более. Он сидел рядом с Лианой на заднем сиденье, и вид у него был далеко не счастливый.

Георгий Михайлович рассмеялся:

— Что ж, если у юности фантазии не хватает, придется взять инициативу в свои руки.

«Фиат» мягко несся по шоссе. День был на исходе. Воздух — свежий, резкий, чистый, как стеклышко. У нас бывает так в середине февраля — весна еще не наступила, но и от зимы уже как будто ничего не осталось. Дышалось легко, и думалось легко.

Машину сильно потрянуло на повороте. Лиана вскрикнула. В зеркальце я увидел, как она невольно ухватилась за рукав Ладо. Он, видимо, смутился, так как с преувеличенным раздражением сказал:

— Никак у нас не научатся делать дороги. Ведь совсем свежее шоссе, не больше года ему, и уже...

— Ничего удивительного, — пожал плечами, отозвался Георгий Михайлович. — Обычный результат халтуры.

— Не знаю, результат чего, — голос Ладо звучал недружелюбно, — но я всегда думаю о машинах, которые гребятся на таких дорогах. Скажите, вам, к примеру, не жаль своего «фиата»?

— Э-э, — Георгий Михайлович небрежно махнул рукой, — машина — это металл, резина, стекло. Это — вещь, которая мне служит, а я не люблю привязываться к вещам... Что же касается причин, от которых зависит безобразное — я с вами согласен — состояние дорог, то они просты. К сожалению, стремление, как говорится, погреть руки — еще довольно частое явление. Строители экономят на дефицитных материалах — во-первых. А второе — вместо того чтобы пройти по горячей массе асфальта двадцать-двадцать пять раз, каток делает четыре-пять рейсов.

Ладо подался вперед.

— Что-то все у вас очень уж просто получается, — проговорил он. — Во всяком случае, благодарю за информацию. Я этим делом займусь.

Мы выехали на пригорок, и внизу, наверное, километрах в двух, заплескалось небольшое озеро огней. Было уже совсем темно, только небо светилось синим, как бывает в

ясные морозные ночи. Казалось здесь, на земле, уже весна, а зима, на что-то еще надеясь, притаилась в холодной мертвой вышине.

Георгий Михайлович затормозил, приоткрыл дверь. — Что за огни там? Не пойму.

Действительно, странно. Окрестности нашего города мы знали отлично. Здесь всегда было голое место.

Ладо звонко ударил ладонью о ладонь:

— Это же девятнадцатый массив! Некоторые дома, видно, уже заселили.

— Поедем туда, — предложил я, — Посмотрим.

Этот девятнадцатый массив мало меня интересовал. Просто было легче, когда мы ехали.

Лиана захлопала в ладоши:

— Правда, поедем! Как интересно! Вы знаете, одна моя подруга должна получить здесь квартиру. Она недавно вышла замуж за одного инженера... У них ужасные условия, и им обещали.

Георгий Михайлович, разогнав машину, выключил зажигание. Мы бесшумно скользили по длинному пологому спуску. Огни росли навстречу нам и неторопливо отодвигались друг от друга. В самом деле: три корпуса уже светились всеми четырнадцатью этажами. Остальные — их было несколько — громоздко чернели в синей ночи, словно недостроенные корабли.

Нас привлекло довольно необычное зрелище. Рядом с шоссе, чуть поодаль от заселенного дома, штук пять повисших на проводах лампочек освещали небольшую толпу.

— Что-то случилось! — всполошилась Лиана.

Мы промолчали. Георгий Михайлович свернул с шоссе. Машина остановилась, и — это было неожиданно для нас, только что вынырнувших, как из черной воды, из безмолвной ночи, — явственно зазвучала мягкая и задумчивая танцевальная мелодия.

Мы вышли из машины. Люди стояли и сидели на сложенных строительных блоках. Они кольцом окружили ровную, может быть, только сегодня днем расширенную площадку. А внутри этого круга серьезно, сосредоточенно топтались, неуловимо перемещаясь, мальчишки и девчонки, мужчины и женщины постарше, несколько пожилых. И небольшой транзисторный магнитофон пел чистым, теплым голосом, и желтые блики редких лампочек скользили по спокойным лицам танцующих, и я с удивлением почувствовал, что у меня теплеет на сердце.

Двое или трое из сидевших повернулись к нам.

— Добрый вечер, — сказал Георгий Михайлович.

Они ответили. Один — когда он поднялся, мы невольно подивились его громадным размерам, — добродушно осведомился:

— Вы, часом, не комиссия?

— Нет, — весело ответил Георгий Михайлович, — мы так... вроде туристов, что ли.

— Милости просим, — явно потеряв к нам интерес, только из вежливости произнес великан.

Ладо подошел ближе.
— Постой, постой... — сказал он. — Ты, друг, не с электровозного?

— Допустим, — вновь оживляясь, взгляделся в него Лианарень. — А ты... Ну и ну! — радостно заорал он: — Ладо! Беридзе! Ты что здесь делаешь?

Ладо широко улыбался.

Они оказались старыми знакомыми — вместе участвовали в каком-то всесоюзном совещании рационализаторов. Меня это мало трогало. Я смотрел на Лиану. Она подалась вперед. Неяркий свет лег на тонкий, такой знакомый мне профиль. Она была красива сейчас, когда молча, должно быть, отдавшись каким-то своим мыслям, смотрела на танцы. Я ощутил полнейшую растерянность. Куда делись мои обиды, моя тревога! Я просто любовался ею, потому что она была хороша, и дивился неведомо отчего родившемуся покою, и думал о ней очень, очень хорошо.

И вдруг с необычайной ясностью понял: ничего у нас не выйдет.

Магнитофон добросовестно выплескивал в ночь все новые и новые мелодии. Лиана потянула меня за рукав:

— Я совсем замерзла. Послушай, давай и мы потанцуем!

— Нет, — тоскливо сказал я, — ты ведь знаешь, какой из меня танцор... — и непроизвольно покосился на Георгия Михайловича. Сейчас он предложит ей свои услуги. Наши глаза встретились. У него дрогнули в легкой усмешке губы. Он вынул из кармана пачку сигарет, протянул мне:

— Прощу, Гоги.

И стал долго, старательно разминать свою.

— Если вы разрешите... — неловко сказал Ладо. Лиана дружелюбно подала ему руку.

Мы с Георгием Михайловичем отошли в сторону и молча курили.

...Лиана и Ладо вынырнули из кольца людей. А магнитофон все старался. Теперь меня злил его бесстрастный голос, я уже находил в нем металлический привкус.

— Благодарю вас, я чудесно провела время! — Лиана шутливо сделала подобие реверанса и насмешливо оглядела нас. Становилось холодно. Она зябко повела плечами: — А не пора ли нам в машину и...

Не договорив, она рванулась с места, легко перемахнула через кювет и выскочила на шоссе. По ровной дорожке асфальта — она казалась стальной в свете фар быстро приближающегося автобуса — неторопливо брел мальш лет четырех от роду. Видно, удрал по таинственным своим делам от родителей и теперь возвращался. На мгновение у меня оборвалось сердце, и тут же я понял, что никакой опасности нет. Водитель, очевидно, заметив малыша издали, вовремя затормозил и сейчас осторожно подъезжал поближе. Все мы с облегчением вздохнули. Но Лиана, охваченная порывом самоотверженности, коршуном налетела на ребенка, схватила его в охапку и ринулась обратно, хотя машина смиренно стояла

метра в пяти. Хлопнула дверца. Вышел шофер, приблизился к нам и с профессиональным возмущением начал:

— Если, гражданочка, все родители так, за здорово жись вещь, начнут своих детей на дорогу выпускать...

Спохватившаяся мамаша взволнованно бежала от освещенного круга.

— Ну и задам же я тебе, Дато! — многообещающе кричала она.

В ожидании расплаты Дато, наконец, заревел. Шофер растерянно переступал с ноги на ногу. Видимо, происшествие смутило его. Сорвав с головы шапку, он сердито провозгласил:

— Которым в город возвращаться — садись!

Музыка оборвалась. Переговариваясь, люди шли к автобусу. Женщина крепко пожала Лиане руку:

— Спасибо вам, девушка...

— Музыка, туш! — саркастически сказал я. Меня разозлила вся эта нелепая история.

Когда мы въехали в город, Ладо проговорил:

— Ведь Лиана не знала, что шофер увидит...

Георгий Михайлович остановил машину возле подъезда Лианы. Было начало одиннадцатого. Опять повалил снег.

— Спокойной ночи всем! — Лиана сказала это хорошо — тепло и просто. Я любил, когда она забывала свой неестественно приподнятый тон и говорила так.

Уже войдя в подъезд, она задержалась и задиристо крикнула:

— Особенно Ладо! Он был самым любезным кавалером.

Мы медленно поехали вдоль улицы. Она уже заметно опустела.

Георгий Михайлович обернулся:

— Чем мы займемся теперь?

— Я — домой, — сказал Ладо.

— Пожалуй, и я...

Против ожидания, Георгий Михайлович согласился сразу. Он предложил развезти нас по домам. Мы отказались. Когда машина скрылась за углом, я посмотрел на Ладо.

— Извини меня, пожалуйста. Верно, я все преувеличил днем. Мог тебя не тревожить.

Он ткнул меня кулаком в плечо:

— Чудак! Терпеть не могу ненужных разговоров. К тому же я замечательно провел вечер. Проветрился, и вообще...

Я поглядел на него с удивлением. Ладо был оживлен и весел. Он расстегнул пальто, открыл шею, помотал головой.

— Слушай-ка, еще рано, завтра выходной. Пойдем ко мне. Я недалеко живу. Поболтаем. И есть у меня где-то бутылка хорошего черного вина...

Я знал, что долго не смогу заснуть.

У Ладо тоже была своя комнатка — чуть попросторнее моей. Книжки стояли на полках, стопкой лежали на столе. Толстый журнал торчал из-под подушки. На стене был приколот портрет, видимо, вырезанный откуда-то.

— Главный конструктор, — строго сказал Ладо, вешая мое пальто на крючок у двери.

Я смотрел на этот деловой беспорядок, на чертежи и эскизы чертежей, сделанные, вероятно, наспех, но без исключения аккуратные — и, сам того не желая, сравнивал.

Мой стол. На нем никто никогда не увидел бы даже бумажки. Все, что я писал в свои муторные ночные часы, сразу пряталось в ящик, словно я стыдился этого. Я и впрямь стыдился. Книг у меня было мало. В моем чтении никогда не было системы. Я подумал, что вся обстановка комнаты Ладо словно спокойно и уверенно заявляет: здесь живет человек, занятый настоящим делом, ему не от кого прятаться и нечего скрывать. И портрет человека-легенды на стене. Мое падкое на ассоциации воображение ехидно подсказало: скажи, кому ты поклоняешься, и я скажу тебе, кто ты. Конструктор и Поэт. Воплощенный рационализм, смелый взлет реалистической, пылливой мысли инженера — и безнадежные, ранившие душу блоковские поиски мечты-незнакомки, мечты о прекращении, которое не может жить на земле. Вот и вся разница между нами. Я испытывал зависть к Ладо — человеку, который знает, что ему нужно.

— Извини, — сказал он. — Вчера засиделся, опаздывал утром, все бросил. Я сейчас.

Он принялся наводить в комнате порядок. Я взял наугад несколько книжек с полки. Словарь иностранных слов. «Однажды на Меркурии» — сборник научно-фантастических рассказов. Несколько номеров «Искусства кино» за прошлый год. История западноевропейской философии. Лирика Галактиона Табидзе, которого я любил и уважал в равной мере как поэта и как человека.

Но я злорадно подумал, что, наконец, могу представить себе облик Ладо. Типичный положительный герой! Он задался целью развить себя всесторонне. После работы думает над предложениями. В порядке отдыха читает фантастику. Западной философией интересуется, чтобы иметь «достаточно глубокое и многогранное представление о путях и законах развития человеческой мысли». Словом, скучно. Да и, конечно, — строжайший режим дня, ах, день так короток, ни минуты нельзя терять, чтобы жизнь не прошла бездарно...

— Ты зарядку по утрам делаешь?

Ладо остановился со стопкой книг в руках.

— Зарядку? — он виновато улыбнулся. — Знаешь, летом — всегда. А вот зимой... Лень зимой вскакивать чуть свет. Ну и... когда как получается. — Повертел стопку книг.

— А, черт с ними! На днях привезу еще полки, тогда все уложу как следует.

Довольно небрежно опустил книги на пол.

— Одну минуту...

Вышел и вернулся с бутылкой вина и тарелкой. Пододвинул мне стул.

— Садись сюда.

Сам присел на кровать. Налил бокалы до краев. Я с любопытством наблюдал за ним. Образ положительного героя из

«правильной» книжки стремительно таял в моем воображении.

Мы выпили. Вино действительно было хорошее. Казалось, собрали золотой осенью понемножку всего — солнца, прозрачного ароматного воздуха, тишины теплых вечеров, — каким-то чудом пронесли через дожди и мокрый южный снег и поставили перед нами в этой бутылке.

Ладо торжественно спросил:

— Что я говорил?

Мы закусывали колбасой и холодными крутыми яйцами. Закурили.

— Как тебе понравилась Лиана? — сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

— Лиана? — Ладо чему-то обрадовался. — По-моему, замечательная девушка. Ты счастливый парень, Гоги! Только... Видишь ли, в ней словно два человека живут. Один — простой и добрый, другой — будто выдуманный, не настоящий. Отчего?

Он смотрел на меня вопросительно, а я уже жалел, что заговорил на эту тему.

— Ладо, — сказал я, — я вот все слышу: бригада Ладо Беридзе, бригада Ладо Беридзе... Расскажи мне, что это за такая необыкновенная бригада.

В такте ему нельзя было отказать. Он и виду не подал, что его удивил такой переход.

— Если тебе и вправду интересно, я расскажу. Собственно, это была не моя идея. Она возникла как-то сразу и у нескольких людей одновременно. В газетах это называют «рожденное жизнью».

Мне понравилось, что он вроде бы стесняется избитых словечек.

— Мы решили, — продолжал Ладо, — что обдумывать новое сообща куда разумнее. Понимаешь, на нашем заводе немало рационализаторов. Допустим, одному из них пришла в голову интересная мысль. Вздумал, скажем, человек упростить и удешевить процесс закаливания какой-либо детали. Он по специальности электрик. Ему в его области и карты в руки. Но ведь идею надо еще обдумать и с точки зрения химика, металлста, слесаря. Ясно: одному это не под силу. И вот сидел такой изобретатель дни, недели, месяцы — головой о стенку бился, старался понять, что к чему. Через долгие эксперименты приходил к «открытиям», которые у специалиста с техникумовской скамьи в голове сидят готовенькие. Теперь понял? Мы обсуждаем любую мысль, пусть еще совсем «сырую», сообща, со всех сторон сразу...

Я спросил Ладо о бригаде только для того, чтобы уйти от неприятного разговора. А он увлекся и, верно, не думал уже ни о чем другом. Я слушал, и мне становилось завидно. Правда, было время, когда я так же одержимо мог часами болтать о стихах, книгах, о жизни и людях. Но с некоторых пор мне начало казаться, что я повторяюсь, и я обрывал себя на полуслове. Слушая Ладо, трудно было предположить, что ему даже через сто лет надоест говорить об этом.

Он вдруг рассмеялся:
— Самое смешное, что ты до сих пор ни черта об этом не слышал. Сколько ты уже на заводе?

— Кажется, — сказал я, подсчитывая в уме, — уже шестой месяц.

Меня это самого поразило. Полгода прошло, как неделя. Еще никогда время не летело так быстро.

Он поставил бокал на стол, потом поднял, перевернул, подождал, пока стекут на пол последние, действительно почти черные капли, торжественно объявил:

— Видишь? Никакого осадка! Так бывает, только если вино настоящее.

— Никакого осадка, — повторил я. — Хорошо, когда не остается осадка. — Мне пришло в голову занятное сравнение: — Скажи, Ладо, ты ведь тоже живешь так... без осадка? Ну, вот день прошел — и не остается никаких сомнений, уверен, что все было правильно, и ни о чем не жалеешь? Он хотел что-то сказать, но я боялся потерять нить.

— Подожди, пожалуйста, — попросил я. — О чем я хотел? Да. Все — и книжки, и люди, ну, кинофильмы там, газеты — уверяют нас, что тот, кто рано начал трудиться, понимаешь, рано зажил самостоятельной жизнью. — тот знает ей цену, тот много передумал и перечувствовал, того не собьешь... Словом, такой человек на своей шкуре понял, что к чему. Не так ли?

Ладо молча кивнул. Он отлично умел слушать. Когда я говорил с ним, мне казалось, что я физически ощущаю ответную работу его мысли.

— Ты рано пришел в труд, — говорил я, все более волнуясь, — ты работал и учился и чуть ли не в пятнадцать лет твердо стоял на ногах. Говорят, это значит рано узнать всю сложность и тяготы жизни. А по-моему, это как раз легче, намного легче, чем... — я не договорил.

Он долго молчал, потом задумчиво произнес:

— Не знаю. Не могу тебе сейчас ответить. Может, ты и прав. Может, жизнь у меня и в самом деле текла, в сущности, гладко. Школа, завод, вечерняя школа, институт. Я знаю, чего хочу. Знаю, что буду инженером. А дальше... честно говоря, не знаю.


— Мне кажется, — мстительно сказал я, — что у тебя Ладо, никогда не было по-настоящему тяжелых минут, а без этого человек еще не человек.

Я был очень недоволен собой. Чего ради я затеял этот разговор?

— Может, ты и верно говоришь, — почти по-детски улыбнулся Ладо. — Я пока не знаю. Только мне сдается, не в этом главное. Просто между нами есть какая-то большая разница. В чем она? Ну, хотя бы... — он обвел глазами комнату, взял со стола ту книжку — «Однажды на Меркурии», — ты читал?

— Читал. Люблю фантастику. Особенно когда она о космических полетах и так далее, сам понимаешь.

Он радостно кивнул:



— Ага! Я такое тоже люблю. Но ты скажи: что тебе пришло в голову, когда ты читал про этот Меркурий? Я хорошо помнил рассказ. Кажется, автор был англичанин. Он написал странную, тревожную, довольно мрачную вещь. Речь в ней шла о столкновении людей с обитателями Меркурия — разноцветными шарами, представляющими собой сгустки энергии. Шары обладали способностью материализоваться в любые существа и предметы. Какими-то таинственными путями они улавливали человеческую мысль и, подчиняясь ей, принимали самый фантастический облик. А главной в рассказе была идея: мы, люди, донельзя ограничены в своих представлениях о возможных формах бытия, и неведомые планеты сулят нам самые невероятные сюрпризы, мы даже вообразить себе не можем какие, и они, эти неожиданные, исклѹчают всякую возможность мирных контактов, а тем более — сотрудничества с инопланетянами.

Пусть этот рассказ далеко не оптимистичен. Зато он — **настоящий**. Меня всегда волновала настоящая фантастика. Ведь здесь писатель вырывается за рамки обычных земных представлений, ломает придуманные скопцами от литературы границы «дозволенного», берет на себя смелость видеть то, на что принято подчас закрывать глаза. Это особенно ценно, потому что на какую бы планету такой автор ни забрался, он всегда исходит из своего — земного видения мира. Когда я читал подобные вещи, приходила гордость за Человека. А еще становилось немного жутко и — завидно...

Все это я рассказал Ладо. У него захотели глаза:

— А вот мне после таких книжек хочется думать и думать, ломать голову над машинами, которые позволяют побывать на всех этих планетах. Чтобы раз и навсегда разобраться, как там на самом деле!

Словом, так наш разговор и кончился — ничем. Да и как он мог еще кончиться?

Мы допили вино. За окном стало совсем тихо, и до нас явственно донесся бой далеких часов. Было двенадцать. Я собрался домой.

— Подожди. — предложил Ладо. — Я покажу тебе свой мотоцикл. Кое-что я там переделал, и он сейчас даст форы любой «Волге».

Мы спустились в сарай. Ладо включил свет. Настоящая мастерская. Здесь был даже маленький токарный станок. Ладо поднял брезент. Мотоцикл стоял, подавшись вперед. Выхлопные трубы были изогнуты вверх. Обильная смазка заглушала тусклый блеск металла. Ладо стал объяснять, как он почти в полтора раза увеличил мощность двигателя. Мне нестерпимо захотелось вывести машину за ворота, нажать на стартер и полететь вперед, пусть ветер хлещет по лицу и срывает с глаз им же рожденные слезы, чтобы шоссе бросалось под колеса, и к черту умные мысли и мои тетради, и все, что мешает жить.

— Послушай-ка, — Ладо коснулся меня локтем, — я вижу, какими глазами ты на него смотришь. Потеплеет — бери, когда захочешь. А еще лучше — записывайся на нашу спар-



такиаду. Ты ведь когда-то ездил. Кросс, верно, будет интерес-
ресный. Впереди не один месяц, успеешь потренироваться
— Нет, — сказал я, очнувшись, — нет, куда мне. Спасибо, Ладо.

Город был в снегу. Ничто не тревожило его в поздний час. Небо скрылось в белой мутной глубине. Снег все падал.

Я завернул за угол. Внизу, в конце длинной улицы, стоял наш дом. Ботинок скользнул по голубому холодному пуху. Оттолкнувшись, размахивая руками, я помчался по тротуару. Уже внизу, вовремя спрыгнув на мостовую, чтобы не упасть, я вспомнил: давно я так не катался.

...И вдруг ко мне вновь вернулись все те же сверлящие, жалающие, опустошающие мысли, которые приходили все чаще — и, верно, не ко мне одному. Они не могли не мучать нас — тех, кто в пятнадцать лет пытался утолить жажду несвершенного и теперь недоступного, безвозвратно утерянного подвига, для которого родились наши отцы, а прежде деды; нас — тех, кто ради своей мальчишеской несбыточной мечты бездумно и глупо рисковал оставить ноги под колесами трамвая, прыгал с моста в реку — именно в том месте, где особенно грозно и жутко свивалась в воронки водоворотов желтая весенняя вода, или на спор, просто так, на высоте пятого этажа перелезал по узкому карнизу с балкона на балкон.

Глупо это, разумеется, было. Но и понятно. А кроме того, мы мечтали и даже, с полной серьезностью собираясь в путь, готовились бежать в далекие края, чтобы помочь маленьким, но неукротимым людям и таким же народам бороться за свободу против больших армий и больших алчных государств.

Что ж, миновала и эта пора, и теперь нас мучали, радостно и горько обжигая воображение, размышления о нас самих, о том, что мы сможем и чего не сможем, и что нас ждет впереди.

Тогда с особой остротой ощущалось присутствие чуждого и враждебного, о котором я уже говорил. Сначала затаившееся, но все более наглешее, оно вносило смятение в наши души, потому что противоречило нашей вере, любви и надеждам. Доходило до того, что подлецы с большими деньгами в карманах и тайниках открыто смеялись нам в лицо, кичась награбленным и украденным... (А моя мама, никогда не жалуясь на многочисленные болезни и пережитое, привычно строчила на швейной машине!).

Пусть многое начало меняться. Пусть воры притихли и уже не смеют глумливо размахивать толстыми пачками банкнот. Пусть уже не один из них оказался там, где ему давно было пора оказаться. Но оставались Венера Павловна (нет, дело, конечно, не в Лиане, все это ни при чем) и подобные ей.

И как нам вернуть украденную детскую мечту о подвиге? Может, есть люди, которых такие вещи мало заботят.

У меня — иначе.

...Но почему мне вдруг захотелось, как это было давно, оттолкнувшись ботинком, промчаться по заснеженному тротуару?

IV

Мне трудно объяснить, почему я вдруг решил идти на эту читательскую конференцию. Тогда, выслушав холодно-официальное приглашение Нино, я подумал совсем о другом. Мне вдруг представилось, что в этой задиристой девочке сидит добрый и ласковый зверек. В сущности, ему очень хочется смотреть людям в глаза доверчиво и смущенно, но он считает это унижительным для себя и поэтому каждую минуту показывает свои, в действительности предельно безобидные, коготки. Потом до меня дошел смысл слов. Конференция? Читательская конференция в школе? Я едва удержался, чтобы не рассмеяться, решил, что, конечно, не пойду, и забыл об этом. Однако что-то, должно быть, произошло со мной в последнее время. Раньше при первой возможности я заваливался поверх одеяла на кровать и часами перечитывал давно знакомые книги или просто курил, разглядывая до ненависти изученный потолок, или бессмысленно, не в силах избавиться от наваждения, повторял в уме привязавшиеся стихотворные строчки. Была у меня и еще одна — иначе ее не назовешь — мания. Я цеплялся за какую-нибудь случайную фразу и начинал делить все слова в ней на части, почему-то обязательно по три буквы в каждой. Скажем, вот так: «Лош-адь ход-ила пок-руг... «у» повисало в воздухе, и ритма не получалось. А он мне почему-то был необходим. Я лихо-радочно придумывал любое слово, и получалось уже стройно: «Лош-адь-ход-ила-пок-руг-удо-лго». Так длилось до бесконечности, даже во рту появлялась сухость. На беду вспомнилось еще замечание Макаренко о каком-то там «садизме словечек», и хотя я не совсем ясно представлял себе связь между моей привычкой и этим самым садизмом, становилось даже жутковато. И все-таки мне стоило огромного труда оторваться от постели, книг и этой сумасшедшей привычки. Разве что надо было выйти за сигаретами.

А теперь вдруг потянуло к людям. Поэтому девятнадцатого я вспомнил: сегодня конференция, и решил пойти.

Нино училась в школе, которую я кончал.

У самого подъезда мне захотелось вернуться. Однако я увидел Георгия Михайловича и удивился: ему-то что здесь понадобилось?

— Добрый вечер! — весело сказал он. — Как видите, все дороги ведут в этот литературно-критический Рим.

Мы неторопливо поднимались по широкой серой лестнице. Десять лет десять раз на день я сбегал и подымался по ней. Странно.

Георгий Михайлович с юмором в голосе пояснил:

— Нашего редактора неожиданно растрогала тема интеллектуальной дружбы школьников с шефствующими над ними производственниками. Он потребовал, чтобы я разразил-

ся по этому поводу волнующей корреспонденцией. Что ж, заголовок у меня уже есть, даже в нескольких вариантах. На выбор: «Завод — нам, мы — заводу», или «Когда каждый находит пользу», или, наконец, «Шефы — шефам»^{из собрания} — интригующе? Какой вам нравится больше?

— Лучше — «Ни уму, ни сердцу»...

Георгий Михайлович негромко рассмеялся. Откуда-то из класса выскользнула Нино.

— Здравствуйте, — чинно сказала она, — милости просим.

Повернувшись с самым независимым видом, она пошла впереди нас вдоль коридора. Значит, машинально отметил я, собираются в химическом кабинете. Я смотрел на Нино. Сейчас, в аккуратном школьном платье, она казалась и старше, и младше той девчонки, к которой я привык в цехе.

Было довольно много мальчишек и девчонок. Среди них я увидел знакомые лица, примелькавшиеся на заводе.

— Гоги! — с радостным удивлением воскликнул за моей спиной женский голос. — Ах, Гоги, как хорошо, что ты пришел в свою школу!..

Евгения Васильевна долго и горячо пожимала мне руку. Со странным чувством смотрел я на эту не старую еще женщину — мою бывшую учительницу. Возможно, многие меня осудят, но я не мог относиться к ней хорошо. Почти пять лет назад, в полной растерянности, я пришел к ней вечером с нелепым требованием: расскажите мне, как жить, что делать, куда идти. Часа три ходили мы по городу, выбирая узкие кривые улочки — там было тише. О чем только я не услышал! Взволнованно блестя стеклами сильных очков, Евгения Васильевна тревожила десятки литературных покойников. Я люблю и уважаю литературных героев. Я вполне разделяю мнение, что писатели — это инженеры человеческих душ, а их книги — источник знания (видели неоновый призыв: «Покупайте и читайте книги! Книга — источник знания?»). Я даже сам надеюсь написать когда-нибудь книгу, пусть первую и последнюю, потому что я уверен: каждый нормальный человек способен написать хотя бы одну достойную внимания книгу — о самом себе. Но я пришел к Евгении Васильевне, чтобы она объяснила, как следует жить мне, именно мне и никому другому. Книги пишутся для многих людей сразу, а не для кого-нибудь одного. И моя учительница мне сказала:

— Знаешь, в конце концов твои поиски и сомнения — отнюдь не тревожный симптом. Они свидетельствуют о напряженной работе твоего еще не устоявшегося ума, о душевной твоей чистоте. Такое брожение приводит нередко к чудеснейшим результатам. Вспомни хотя бы чрезвычайно интересную и неповторимо трудную судьбу Алексея Максимовича Горького. Ты меня понимаешь?

Я ее, наконец, понял. У меня даже досада на нее прошла. Действительно, глупо требовать от человека — пусть он старше и умнее тебя — в один вечер объяснить то, что приходит лишь за годы действия и раздумья. Но слова, которые говорила мне Евгения Васильевна в тот вечер, я слышал от

нее целых четыре года. И этого я ей простить не мог — ^{тех} ³⁰²²⁰¹¹⁰³³³ четырех лет.

— Спасибо, Евгения Васильевна, — как можно искреннее сказал я тогда, — я подумаю. — И даже сделал над собой усилие и добавил: — Мне стало намного легче.

Она растроганно взъерошила мне волосы. На том все и кончилось.

Однако теперь я приветливо улыбнулся Евгении Васильевне и почтительно сказал:

— Мне очень приятно вас видеть. И я заинтересовался диспутом... Конечно, это вы его придумали?

Высокий юноша в хорошем костюме и галстукe поднялся, поворошил какие-то бумаги на столе. Это был длинный черный стол. Он находился на возвышении. На нем нам показывали опыты. Сейчас здесь было что-то вроде президиума.

— Дорогие шефы, — сказал юноша, он очень отчетливо выговаривал слова, — ребята! Мы собрались сегодня в этом скромном помещении, чтобы вместе, по-дружески и откровенно, поговорить, поспорить, а может, и поругаться. Не поймите меня неправильно, я имею в виду — поспорить и поругаться по поводу новой книги хорошо нам известного писателя (он назвал автора, тот был мне незнаком). Книга называется «Звезды поют мне». Я думаю, большинство читало эту повесть, содержание ее близко как нам, выпускникам средней школы, перед которыми открываются светлые пути в труд, так, в равной мере, и нашим дорогим друзьям — гостям с авторемонтного завода. Однако на всякий случай я напомним сюжет...

Наконец, я вспомнил этого хлыща. Он приходил на производственную практику в соседний, токарный, цех, и я его сразу невзлюбил. Не за то, что у него были какие-то беспомощные руки. В конце концов, это не его вина. Мне не понравилось его чистоплюйство, иначе не назовешь. Прежде чем взять со стола заготовку, он наклонялся над ней и сдувал пыль. Как будто можно работать так, чтобы руки остались чистыми. Никто тебе не мешает мылить их потом хоть сто раз, а на работе изволь думать о деле. Я сам на заводе без году неделя, и мне наплевать на разные фальшивые словечки вроде «трудового горения». Но подобные птенчики меня всегда возмущали. Такой в походе запрячет на дно рюкзака кусок ветчины и потом один сожрет его потихоньку. А здесь, за столом, они в своей тарелке — болтают и слушают себя с наслаждением. Я незаметно оглядел лица.

Евгения Васильевна сидела рядом со мной в первом ряду (черт меня дернул здесь сесть — и не удерешь, если станет невозможу). Она кивала в такт круглым фразам этого пижона, по лицу ее блуждала улыбка величайшего удовлетворения — точь-в-точь меломан на любимом концерте.

Нино чуть подалась вперед. Глаза ее искрились дерзким смехом. Я облегченно вздохнул и увидел нашего директора. Он заметил меня, кивнул. Его лицо было серьезно, но мне показалось, что директорские глаза искрятся, как у Нино.

Юноша (Евгения Васильевна шепнула мне, что это — председатель литературного кружка, светлая голова) пере-

сказывал сюжет повести. Мне он стал ясен сразу, после первой же фразы я уже знал конец. Это была довольно затянувшаяся история о том, как один паренек окончил школу, попал в институт, стал скучать, беситься от безделья, тут не связался с плохой компанией и однажды даже согласился стать в начале парковой дорожки, чтобы предупредить хулиганов, которые собрались снять с девушки часы, об опасности. Всех их застучали дружинники. Они оказались ребятами с одного большого завода, привели туда этого паренька, долго с ним разговаривали, и, наконец, под благотворным влиянием коллектива он исправился, полюбил труд и даже внес какое-то рационализаторское предложение... Я мысленно последними словами ругал себя за эту глупость — оказаться рядом с Евгенией Васильевной. Но одно место в повести задело меня и засело в мозгах.

Там этот самый паренек вдруг вбил себе в голову, что звезды, обыкновенные звезды, которые мы видим ночью, поют. Он был твердо в этом уверен и все пытался услышать их и никак не мог. Мне понравилось это место — оно выделялось в повести, как осколок зеркала в серой тусклой пыли.

Председатель предложил выступить «желающим». Разумеется, по очереди вышли несколько заранее записавшихся мальчиков и девочек и по бумажке сказали, что им в повести нравится и что следовало бы «углубить и разработать более детализированно». Евгения Васильевна благосклонно кивала, потому что все шло как по маслу, и вдруг нервно поправила очки. Я сразу сообразил, что Нино не записывали в число «желающих».

Она подошла к столу с самым независимым видом и без тени застенчивости, внятно и звонко заговорила:

— Ребята! Вот здесь, в этой книге, описывается, как герой повести впервые попадает на завод и какое впечатление производит на него рабочий процесс. Только ведь автор все перепутал! Нельзя плоскогубцами перекусывать проволоку — это делают кусачками. И никто не срывается с места после гудка, потому что надо прибраться. А потом — при чем тут «зябко ежась под душем»? Ясно написано, что завод новый, передовой. На таких заводах, как у нас, например, всегда есть горячая вода...

На литературных диспутах редко аплодируют, но тут раздалась дружные хлопки. Особенно старались наши заводские ребята.

— Я еще не все сказала. — Нино удовлетворенно потрянула головой. — Есть в повести одно хорошее место — это где про звезды, как будто они поют...

Председатель тонко улыбнулся, поправил галстук.

— Ладно, Нино, садись, если у тебя больше ничего нет. Выступили еще несколько человек. Я не собирался. Очень мне нужно было. Они говорили, в общем, одно и то же. Я поискал глазами Георгия Михайловича. Счастливый человек. Он сидел, небрежно облокотившись о подоконник, и изредка, очень редко, делал пометки в блокноте. За окном стало сереть. Было пасмурно, и мне представилось, что это не небо за окном, а большая лужа не очень чистой воды. Вот ее

слегка взбаламутили, она стала мутной, вот поворошили силь-
нее, и окраска сделалась темной. Наконец, осторожно влили
бутылочку чернил, и все стало черно-синим. В кабинете за-
жгли свет.

Я уже не слушал, о чем говорили, и только мечтал вы-
браться отсюда. Стало невыносимо скучно. Потом диспут кон-
чился. Я взглянул на часы — было около девяти.

По городу разгуливал холодный черный ветер. Меня охва-
тила огромная усталость. Я нащупал в кармане деньги и оста-
новил такси. В четверть десятого я был дома, но не успел по-
вернуть ключ в замке, как распахнулась дверь напротив, вы-
шел Иван Вашакидзе и глухо сказал:

— Гогн, твоя мама... Я сидел и читал... читал, в общем...
Понимаешь, я опоздал на конференцию, меня задержали на
заводе, и...

Тусклая лампочка унеслась вверх, потолок раздвинулся
и тоже помчался куда-то к черту, стены разбежались в сто-
роны. Я стал маленьким, очень маленьким, я почувствовал,
что сейчас потеряюсь в этом чудовищном пространстве, за-
валюсь в какую-нибудь щелочку и потеряюсь. Я крепко схва-
тил Ивана Вашакидзе за отвороты теплой пижамы.

— Что с мамой?

Он испуганно подался назад.

— Мама в больнице, я вызвал «скорую помощь»... Я чи-
тал, и она постучала, она сказала: «Плохо». Я едва довел ее
до дивана...

— В какой она больнице?

— Во второй.

— Ты говорил с врачом?

— Нет... Меня не пропустили.

— Давно ее увезли?

— Часа... часа полтора.

Я ощутил ломоту в пальцах, медленно разжал их. Иван
Вашакидзе смотрел на меня растерянно и с жалостью. Оста-
вив ключ в замке, я сбежал по лестнице. На последней пло-
щадке меня словно ударили по голове чем-то мягким. А мож-
ет, она уже умерла? Я прислонился лбом к холодной стене.

— Мама, — сказал я громко, — мам!

Ветер и пронизывающий холод, такой резкий, пронизи-
вающий холод, словно меня раздели и выбросили на улицу.
Сумасшедшие взлеты фонарей, в панике забился, загрохотал
железный лист на крыше, жалобно зазвенело стекло, и рас-
сыпалось серебро осколков по тротуару. Со смехом пробе-
жали двое, ветер, совсем ошалев, тащил их вперед.

Я потом почти ничего не мог вспомнить. Кажется, меня
не хотела пускать в больницу какая-то тетка в белом, и я
спорил и доказывал. Потом прозвучал негромкий, спокойный
голос другой женщины. Я успел подумать, что это смешно,
почему врач обязательно должен быть в очках? У нее было
молодое миловидное лицо. Она сказала, что у мамы сильный
сердечный приступ, ей все еще плохо, но, вероятно, обойдет-

ся. Я не должен беспокоиться. Ветер? При чем тут ветер? Ведь она в больнице, в палате тепло. Нет, не надо думать о ветре и не надо волноваться. Я могу зайти завтра и позвонить.

Я долго стоял у ворот. Смешно, почему доктор обязательно должен носить очки? Милые мои очки, вы совсем не портите этого лица. Оно молодое и умное. Не надо думать о ветре. Я погрозил кулаком дереву, оно склонялось, болталось как тряпка, наверное, здесь живет ветер. Я погрозил кулаком ветру и пошел прочь. Он толкал меня в спину и посвистывал, и гремел на крышах, и фонари, в страхе моргая, метались в панике над мостовой.

Я крепко захлопнул за собой дверь. Ветер взвыл, словно ему прищемили лапу, и остался на улице, поджидая меня. Ну и пусть. Здесь тепло. Трое неверным движением сдвинули стаканы. Кто-то небритый меланхолично тянул пиво. Я попросил сто граммов, хотя терпеть не мог водки. Потом еще и еще.

...Ветер с восторгом вцепился в полу пальто. Он уже не злобный. Теперь это просто разыгравшийся пес. Но домой я пришел совершенно трезвым, включил свет, с интересом огляделся.

Поганая это была комната — стол, пара стульев, кровать. Она смотрела на меня враждебно и насмешливо. Будильник молчал. Я сразу вспомнил болтовню насчет дурной приметы, усмехнулся, но торопливо завел часы. Не раздеваясь, сел к столу, рывком выдернул ящик, он чуть не грохнулся на пол. Тетради, кипки листов, блокноты. Я стал торопливо перебирать их и, сам того не замечая, мелко дрожал от отвращения. К ним? К себе? Чего только тут не было! Обрывки стихов, случайные фразы, неоконченные рассказы. Я взял со стола шариковую ручку, прижал ее к черному дерматину и с удовольствием надавил. Ручка сломалась. Я листал тетради, отбрасывая их на кровать.

Серые, серые, серые камни,
Серый, суровый, сыпучий песок...
Ветер взмахнул над пустыней руками —
Вздрогнул ленивый песок и потек...

Я сгреб обеими руками всю эту бумажную дрянь, отнес на кухню, швырнул в мусорное ведро и чиркнул спичкой. Скомканные листки горели весело, торопясь окунуться в пламя. Тетрадки скучно тлели.

Я стал перед зеркалом, оно висело на стене у двери, и принялся рассматривать свое лицо. Я часто рассматривал свое лицо, особенно в то время, когда болтался без дела. Иногда оно мне нравилось. Чаще я его ненавидел. Лицо казалось жалким и бессильным. Каждый встречный, взглянув в такое лицо, сразу поймет: перед ним человек, неуверенный в себе, неустойчивый, может, даже трусливый. Ну, конечно, трусливый, только привык умело скрывать от всех. Я боюсь жизни.

46935920
902 ПР10333

Нет, я не боюсь, потому что всегда прыгал на ходу в трамвай вместе со всеми ребятами, плавал в море, когда бывали волны и немногие решались купаться. И на мотоцикле ездил быстро, говорили — «рискованно». Но это не значит не бояться жизни. Это совсем другое.

Я распахнул окно и высунулся до пояса. Ветер притих. И все же было неспокойно. Заорала пьяная компания. Им я завидую. Я бы ни за что не смог так смело и открыто кричать, я всегда слежу за выражением лица собеседника, боясь, как бы у него не мелькнули в глазах насмешка, или жалость, или презрение.

Улица враждебно смотрела мне в лицо. Озноб прошел по коже. Стало холодно. Верно, водка перестала действовать. Я захлопнул окно и пошел к дверям.

Трое парней стояли на ближнем углу. Они осмотрели меня с ног до головы, и один сплюнул. Я прошел, глубоко засунув руки в карманы, напряженно глядя перед собой. Меня душила ненависть к ним и к себе. Я завернул за угол и услышал испуганный девичий крик:

— Что вам надо?!

Трое стояли на ее пути. Когда она попыталась обойти кого-нибудь, тот лениво делал шаг в ту же сторону. Это было смешное, постыдное зрелище. Я стоял и смотрел. Потом подошел ближе.

— Оставьте меня, — униженно просила она, протягивая перед собой папку. — Ради бога, оставьте...

Трое сдержанно ржали. Видимо, она была студентка. Я не испытывал к ней жалости, эта девица была слишком истерична, но от ненависти к тем трем у меня на миг закружилась голова. Ноги подвели меня почти вплотную.

— В чем дело? — резко спросил один.

— Оставьте ее в покое! — сказал я, с изумлением слушая свой голос. — он прозвучал совершенно спокойно; руки сами собой выдернулись из карманов.

Они даже не ответили, только шагнули ко мне с трех сторон. Потом все тот же деловито, с издевкой осведомился:

— Она, извините, ваша сестра? А может, невеста?

Я не умею драться. В тех редких случаях, когда это становилось неизбежным, я, после первого полученного удара, терял рассудок и зрение и молча в бешенстве размахивал руками, не думая о защите. Иногда это здорово действовало. Но сейчас случилось нечто неожиданное. Получив сильный толчок в грудь, я, ничего предварительно не сообразив, ударил нападавшего ребром ладони в горло. Он задохнулся, шагнул назад, опустил руки, краем глаза я заметил слева размахнувшегося второго и двинул его куда-то ногой. В тот же момент мне крепко дали по затылку, улица поплыла перед глазами, и я услышал далекий милицейский свисток.

Неохота расписывать все это дальше. Меня, конечно, отвели в отделение, парни успели исчезнуть, сонный, но благодушно настроенный лейтенант долго составлял протокол, увязавшаяся за мной девица (вот странно, что она не убежала

сразу!) рассказывала о моем рыцарстве. Я стоял за перегородкой, где всегда стоят задержанные, и отвечал на вопросы. Дежурный спросил, что я делал на улице в такой час. Я честно ответил:

— Вышел прогуляться.

У него взгляд моментально сделался оперативно-проникательным:

— А не слишком ли поздно для прогулок?

Мне было наплевать, я вдруг с огромной радостью ощутил, что исчезли тяжесть и холод в груди. Я не боялся больше улицы, я ее победил. Все-таки я сказал:

— Разве нельзя гулять в любой час, когда захочется?

Неожиданно дежурный согласился.

— Факт, — сказал он весело, — факт. Можно. Только драться нельзя. Тоже факт.

В общем, все, наконец, выяснилось. Нас отпустили, предложив расписаться в протоколе. Я уходил последним. Дежурный проводил меня до дверей, на прощанье тронул за плечо и доверительно сказал:

— А в общем — правильно! Я бы и сам таких... с удовольствием.

Поправил фуражку на голове и официально козырнул:

— Доброй ночи.

На углу я огляделся. Те трое могли ждать. Однако никого не было. Стало совсем тихо. Я набрал полную грудь холодного, резкого воздуха. Я победил свой страх, и победил улицу, и поборол ночь. Но что будет завтра, я не знал.

Утром позвонили из больницы. Маме стало лучше.

Я все еще один. Мама поправляется, но ей надо пройти курс лечения. Стараюсь под любым предлогом задерживаться на заводе попозже — возвращаться домой всегда неприятно. Иногда выезжаю за город на мотоцикле — беру в спортсекции. Правда, еще холодно, но мне так даже лучше. Почти ничего не читаю, не хочется. Работаю много. Сейчас все работают много.

...Все чаще я задавал себе вопрос: чего мне, собственно, не хватает? Уже давно я не видел Лиану. Это меня мало огорчало. По правде говоря, я все реже вспоминал о ней. Мама вернулась домой. После пережитого у нас что-то изменилось в отношениях, я хочу сказать — изменилось в лучшую сторону. Неожиданно заметил, что больше не говорю с ней в прежнем раздраженном тоне, а вскоре и замечать это перестал.

V

Широко шагая, Ладо вдруг хлопнул себя по лбу:

— Фу, черт, совсем забыл! Смотри, Гоги, тебя это тоже касается.

Я остановился, развернул узкий листок. Нино привстала на цыпочки, заглядывая через плечо. Письмо было из редакции. Тов. Беридзе В. А. сообщали, что редакция «взяла на контроль» вопрос, поднятый в его «сигнале». В настоящее время специальная комиссия министерства изучает причины

плохого состояния шоссейных дорог и допущенные при их строительстве злоупотребления.

— А при чем я?

— Как! — вознегодовал Ладо. — Разве ты не помнишь ту прогулку на «фиате»?

Только сейчас я все вспомнил и еще раз подивился упорству этого парня. А он уже закинул конверт в карман брюк и оживленно спрашивал:

— Ты, конечно, придешь?

Речь шла о праздничном вечере, который затеяли наши заводские ребята. Первое мая прошло. День Победы — тоже, и Иван Вашакидзе тревожно озирался по сторонам, когда на него надели в комитете.

— Однако... позвольте узнать, в связи с чем организуется это мероприятие? Насколько мне помнится, никаких календарных дат не предвидится.

На него зашумели:

— Да пойми ты — мероприятия не будет! Будет праздник. В парке, вечером. А дата одна — весна.

Нино пролезла вперед и с оскорбительной вежливостью пояснила:

— Можно считать, что наш вечер организован в ознаменование переломного этапа между весной и летом.

Иван Вашакидзе попытился, но все же пробурчал:

— Неизвестно, как посмотрят на это в райкоме.

В райкоме и смотреть не стали, сказали:

— Валяйте сами, не маленькие.

Разумеется, я всем этим вообще не интересовался, и если б не Нино, то ничего бы не знал. Странная все-таки девочка Нино. Помните, как она приняла меня в первый день? Потом — я даже не заметил, с чего началось, — все изменилось. Когда я входил в цех, она становилась тихой, взглядывала иногда исподлобья и молчала. Или, без всякой видимой причины, принималась вдруг рассказывать о чем-нибудь — взволнованно, скороговоркой. И так же без перехода опять замыкалась в себе... Ну, не слепой же я, в самом деле. Разное приходило в голову. Конечно, было приятно. Вот и сейчас.

— Так пойдем? — повторил Ладо.

Я потер щеку. Придется побриться.

— Не знаю...

Нино взяла меня под руку:

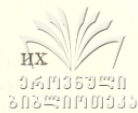
— Пойдем, Гоги.

Странно смотрели ее забавные глаза. Кажется, они зеленые. Точно — зеленые. Я кивнул.

Мы прошли несколько шагов.

— Кстати... — Ладо стал очень серьезен. — Кстати, у меня небольшой разговор к тебе. Да ладно — поговорим на вечере. Может, и говорить не придется — если сам все поймешь.

Опять мне пришлось обалдеть на него смотреть. Какой разговор? Что я должен понять? Но он не продолжал, и я не стал спрашивать. Я подумал, что Ладо стал какой-то другой. Часто и охотно улыбается. Иногда уходит в свои мыс-



ли. Такого с ним раньше не бывало. Он всегда жил ^{чутко} моментально на все реагировал, все замечал. Вероятно, весной, ^{весна} глубокомысленно решил я и обрадовался — нашел ^{в нем} ^{на} ^{конце} «простое, как мычание».

На перекрестке мы сказали друг другу: «До вечера!». Я шел и насвистывал что-то непонятное. У меня нет любимой песни, я смешиваю разные мотивы, если хочется петь. Иногда, честное слово, здорово получается. Мне, во всяком случае, нравится.

Деревья уже сплошь покрылись листвой и еще не успели запылиться. Хорошо было идти вот так с работы.

Весь старый парк был в нашем распоряжении. У нас около двух с половиной тысяч рабочих. Попробуй запомни каждого в лицо. Но никто в этом и не нуждался. Просто было приятно знать, что каждый, кого встретишь, рядом с тобой работает. Верно, я потому заразился общим весельем. Нино таскала меня на карусель, на «колесо обозрения», по собственной инициативе я прыгнул с парашютом, и Нино, ни слова не говоря, тоже решительно полезла на вышку.

— Смотри, застрянешь в воздухе! — крикнул я.

Она, не обернувшись, погрозила мне маленьким кулачком. Когда медленно, словно нехотя (я испугался — вдруг действительно повиснет?), парашют опустился и Нино освободилась от лямок, на это стоило поглядеть — такая гордая сделалась у нее физиономия.

Словом, мне здорово досталось с этой девчонкой. Пришлось даже танцевать. Однако ноги, как обычно, меня выручили. «Медведь и бегемот сразу!» — безжалостно заявила Нино и схватила за руку Ивана Вашакидзе; тот, на свою беду, проходил как раз рядом, на лице у него было написано чувство ответственности за высокий уровень сегодняшнего вечера. Но он покорно поплелся за Нино. Я подумал было, что в голове у нашего комсорга степенно складываются сейчас примерно такие вот мысли: «Что ж, молодежному вожаку не к лицу чураться веселого смеха и здоровых развлечений. Надо, ох, как надо идти в ногу с временем!».

Впрочем, мне тут же расхотелось так думать о нем. Мне было весело.

В павильоне я отыскал столик, за которым сидел Георгий Михайлович.

— Садитесь, Гоги, — радушно пригласил он. — Вспомним былое.

Мы редко встречались в последнее время. К Лиане я не ходил. Он сам почти перестал навещать меня.

Георгий Михайлович налил мне коньяку. Перед ним стоял графинчик. Мы молча чокнулись. Приятно было пить. Я подумал, что очень давно не пил в хорошем настроении и вообще давно не пил. Мы выпили еще по одной. Совсем рядом с нами танцевали. Нино двигалась легко и плавно. Иван Вашакидзе старательно смотрел себе под ноги. Я помахал им рукой. Нино улыбнулась и потом уже все время смотрела на нас. Иван Вашакидзе недовольно зашевелил губами. Наверное, ую-

06.0353-20
882-0101333

рял ее за несерьезное отношение к такому важному культурно-массовому мероприятию, как танцы. Я рассмеялся и взглянул на Георгия Михайловича. Он вяло улыбнулся в ответ. В беспощадном свете ярких ламп явно обозначились мешки под глазами. Я впервые подумал, что он значительно старше меня.

— Вы очень изменились, Гоги, — задумчиво сказал Георгий Михайлович.

В недоумении я молчал.

— Я рад за вас, поверьте, я очень рад, потому что... — Он перехватил мой взгляд, невольно устремившийся на графинчик. — Нет, я не пьян, конечно. Вы знаете — этим сомнительным искусством я владею неплохо.

Да, пить он умел.

— Вижу: вы удивлены. Вам никогда не пришло бы в голову представить меня в подобной роли...

Он был прав. Я никогда еще не видел его таким. Осторожно поворачивая в пальцах рюмку, он говорил. А я молча слушал.

— Помните, мой друг, — негромко и чуть печально говорил он, ясно, отчетливо произнося каждое слово, — помните, однажды я что-то болтал вам о двух аспектах, в которых мы живем? Так вот — я всю жизнь очень дорожил своим многоуважаемым вторым аспектом. С величайшей любовью и осторожностью я относился к своим мыслям, с утонченным наслаждением разглядывал ничтожнейшие нюансы своего отношения к вещам, чутко вслушивался в легчайшее звучание своих душевных струн...

Твердо поставив рюмку на столик, Георгий Михайлович резко рассмеялся:

— Ерунда, знаете ли, все это! Во все времена люди пользовались словами, как фиговым листком. Чем мельче человек, тем более туманно и красиво он говорит. Скажите, пожалуйста, — «аспект»! «нюанс»!

Я видел, как, расплескиваясь, льется из рюмки коньяк и на зеркале стеклянного столика свертывается, точно желтая прозрачная кровь. Я посмотрел вниз. Нога Георгия Михайловича выбивала мелкую дрожь. Он заметил, выпрямился, заговорил серьезно и твердо:

— Думаете, я всегда паясничал? Думаете, я не мечтал услышать, как поют звезды? Гоги, я семнадцать лет проработал в газете. Вы понимаете, что это значит? Попробуйте информацию в полсотни строк об урожае кукурузы увенчать лозунгом вселенского масштаба! А ведь иначе было нельзя... И так — из года в год. Гоги, сейчас можно быть журналистом, можно... Но, знаете...

Нет, таким я его еще никогда не видел. Я понимал, о чем он говорит. Он выпил подряд две рюмки и проникновенно сказал:

— Если вольного жителя джунглей продержат десяток лет за решеткой и потом отворить дверь — он не выйдет из

клетки. Ему уже не нужны джунгли, пампасы, прерии. Что там еще есть?

Мне стало неловко.

— Успокойтесь, — попросил я и увидел Лиану.

В светлом легком платье (это было наше платье, я ее впервые поцеловал в нем, и мы решили, что это только наше платье) она танцевала с Ладом. Пусть что хотят говорят, а я твердо знаю: стоит посмотреть, как танцуют двое, и сразу можно сказать, есть между ними что-нибудь или нет.

— Гоги, — тронул меня за локоть Георгий Михайлович, — спокойнее, Гоги.

Хотя мне не до того было, я невольно отметил, что он опять такой, как всегда. — собранный, сдержанный. Будто и не было этого невыносимого разговора.

Отлично они танцевали. «Прекрасная пара!» — слаща во сказала бы Венера Павловна. Она когда-то про нас так говорила, если размякала от чего-либо и забывала о делах.

— Вы сами так решили, — сказал Георгий Михайлович очень тихо. — К тому же, думается мне, вряд ли что-нибудь можно изменить. Я довольно часто встречаю одного нашего общего знакомого в гостиной у Венеры Павловны. И представьте себе — она даже любезна с ним. Сдается мне, что наша неустранимая дама побаивается этого паренька. Во всяком случае, она, по всем признакам, решила умыть руки... эта стерва, — заключил он. — Да, а еще...

Я его плохо тогда слушал, и лишь позже — зато слово в слово — восстановил в памяти неожиданную исповедь этого несчастного, в сущности, человека. Она была предельно короткой: «...А еще, Гоги, — негромко и неестественно ровно сказал Георгий Михайлович, — я ведь тоже люблю Лиану. Не делайте больших глаз (никаких «больших глаз» я не делал, потому что, повторяю, тогда до меня все это как-то не доходило), я же знаю: вы меня порой даже ревновали. — Он рассмеялся резко и неприятно: — Право, не стоило. Как вам известно, скромности мне не занимать — я считаю себя далеко не глупым человеком и знаю, что умею заглянуть в будущее... Так вот, я заглядывал в него и — это было очень несложно, простой арифметический расчет! — слишком ясно себе представлял, что будет лет через десять... Сорок два — и неполных двадцать, да еще плюс мой образ жизни... Нет, Гоги, я не был вашим соперником. А теперь... Ну, не мне вам сочувствовать! Э, да пошло оно все к черту!.. Вот так, мой друг... И давайте-ка лучше выпьем».

Но только позднее дошло до меня все то, о чем я сейчас рассказываю. Тогда я почти не слушал Георгия Михайловича и только смотрел, смотрел на этих двоих и больше ничего вокруг себя не видел.

Они вышли из круга, сели на скамью. Лиана что-то сказала Ладом. Он улыбнулся, достал из кармана платок и протянул ей. Я сразу узнал платок — там прямо над ними ярко светил лампийон. Ее платок. Ну, если она его просит платок в карман положить («знаешь, мне некуда деть» — и очарова-



тельный поворот, чтобы показать платье, — «без карманов видишь?»)... Теперь ясно.

Я резко встал. Почувствовал сдерживающую руку Георгия Михайловича, стряхнул. Что мне был Георгий Михайлович! Он за мной не пошел.

— Добрый вечер. — омерзительным тоном сказал я, подойдя к ним. — Как живешь, Лиана? Ладо, можно тебя на два слова?

Он поднялся:

— Извини, я на минутку.

Я и не сомневался, что они уже на «ты».

Он был до смешного серьезен. Уж не вздумал ли, что я драться с ним буду? А что я, собственно, буду делать? — подумал я.

— Я сам хотел с тобой поговорить. — сказал Ладо. Ну, до чего он был смешон! — Может, следовало раньше...

Меня вдруг осенило.

— О чем? — беспечно спросил я. — Разве здесь место разговаривать о серьезных вещах? Я просто хотел прикурить.

Он привычно вздернул вверх брови:

— Послушай, чего ты паясничает?

— Ошибаешься, Ладо. — упрямо сказал я. — Ошибаешься. Я просто хочу прикурить.

Я повернулся и пошел. В начале дорожки стояла Нино. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Совершенно зелеными глазами. В них блестели два крошечных прозрачных стеклышка. Она еще на меня поглядела, тряхнула головой, стеклышки упали.

— Нино, — сказал я тоскливо, — понимаешь, Нино...

Я долго и бездумно бродил по улицам и лишь к половине первого поднялся домой. Мама только сказала:

— Сильно устал, сынок, да?

Она тоже многому научилась за последние месяцы. Я был ей благодарен.

Сон обманул меня. Как промокательная бумага — чернила, он очень быстро вобрал в себя усталость. От оцепенения, которое я искал, безостановочно бродя по городу, не осталось и следа. Я проснулся.

Голова была наполнена холодной, ясной пустотой. Я сел в постели. В открытое окно смотрели звезды. Они были точно такие, как в ту ночь — после моего первого дня на заводе. Я вдруг вспомнил, что прошел почти год... Всему свое время, и страшно, когда ночью — ненужно-ясная голова. Я в упор смотрел на звезды. За тонкой стеной мамыны часы-ходики, должно быть, заинтересовавшись поединком, взволнованно гадали: «Кто кого? Кто кого?». На цыпочках я вышел в соседнюю комнату, подержал маятник на месте. Так держат зарезанную курицу, пока она не перестанет биться. Потом опять долго смотрел на звезды. Наконец они уступили — в панике кубарем покатались куда-то к чертям.



Утром я деловито сказал маме:

— Прости, совсем забыл — устал вчера страшно, а завтра ведь сегодня в командировку ехать. Да ты не волнуйся, на десять... Ну, может, немножко больше. Я напишу.

Я отлично разыграл озабоченность и деловитость и успел подумать: неправда, будто матери обо всем всегда догадываются. Моя вот не догадалась. Она только сердито уронила что-то насчет сыновей, с которыми «хлопот не оберешься, разве нельзя было вовремя предупредить», — и принялась хлопотать над чемоданчиком.

И я это заметил и обрадовался: раньше в ней не было такой сердитой хлопотливости, раньше она всего пугалась.

Словом, истерики у меня не было. Я все продумал до мелочей. Поеду в отцовскую деревню. Там родственники. Скажу — в отпуске. Дальше что-нибудь придумается. Матери напишу. Сейчас мне хотелось одного — покоя. И еще я знал твердо: на завод не вернусь, в город тоже.

Мама вышла из комнаты. Я достал из ящика восемьдесят рублей, отложенные на костюм, и сунул в карман.

На улице, на углу у стенда, люди наспех просматривали свежий номер газеты. На первой странице крупно чернел заголовок: «Первенец держит экзамен».

Сегодня утром автомобили уходили в испытательный пробег.

Подхватив чемоданчик, я быстро пошел в сторону, противоположную заводу. На шоссе всегда можно было остановить попугайную машину.

VI

И все-таки я их встретил. Они догнали меня на первом же повороте, в полусотне метров от щита с названием нашего города. Я успел отступить за широкий ствол дерева, потому что издали узнал характерный звук моторов. Они прошли мимо, набирая скорость, — тупорылые, с широко посаженными, как глаза у бульдога, фарами. Их было шесть. Скрылась за следующим поворотом яркая надпись «Испытания» на борту последнего грузовика. Я щелчком далеко отбросил едва начатую сигарету и пошел дальше.

«Нуи-пус-тье-дут, нуи-пус-тье-дут!»! — прыгало в голове в такт шагам. Помните, я рассказывал об этой идиотской привычке? Она давно о себе не напоминала.

Сзади налетел свистящий гул. Не успел он перейти в омерзительный визг покрывшек, как я отскочил в сторону. Потом, подобрав чемоданчик, медленно обернулся, чтобы достойно принять справедливую ругань шофера. Ясно: это проклятое «нуи-пус-тье-дут» увело меня с обочины прямо на середину шоссе. Раньше со мной такого не случалось.

Шофер, разумеется, успел затормозить и вдохновенно заорал с подножки:

— Ты что, с луны свалился, черт бы тебя побрал, дубина этакая!



— Ладно, — сказал я спокойно, — извините, пожалуйста. Просто задумался.

После этого я не оглядываясь пошел дальше, само собой — уже по краю дороги. Не до перебранки мне было. Я успел отойти шагов на пятнадцать, наверно, и снова услышал рядом шум машины.

— Подожди, парень, — окликнул шофер. Это был тот же. — Тебе куда?

Пораженный, я уставился на него. Только что человек от ярости задышался и — на тебе.

— Мне — туда, — я неопределенно махнул рукой вдоль шоссе. Он засмеялся. Человек явно лет за пятьдесят, он хорошо говорил по-грузински, но сразу чувствовалось: это не здешний, только давно у нас живет.

— Добро, — согласился он, все еще посмеиваясь, — мне тоже «туда». Садись.

Я думал секунду и сел. Машина сразу взяла хорошую скорость. Мы порядочно проехали, когда я спохватился:

— Спасибо.

Он пожал плечами:

— Мелочь. Мне с тобой даже лучше — веселее будет. Не люблю ездить один.

— Я — плохой попутчик, — сказал я, чтобы предупредить пустую болтовню.

Он искоса взглянул в мою сторону и опять повел плечами, сказал без обиды:

— Пусть. Я и сам себя развлечь сумею. — Подумал и, выжимая перед подъемом газ до отказа, добавил, словно удивляясь: — Странный ты какой-то, парень.

Потом он перестал обращать на меня внимание, затаил какую-то песенку и с видимым удовольствием принялся разглядывать дорогу, деревья, горы вдаль. По всему было видно — у человека отличное настроение. Я начал потихоньку злиться. Тоже мне, птичка божья. Завидно. Приезжает из рейса, жрет за троих, пьет водку, играет с детьми, потом отправляется с женой в кино («про что сегодня, про любовь?»). Тебя бы в мою шкуру! А до чего добрый! Отругаться не успел и — «куда тебе, парень? Садись, подвезу!»

Шофер опять рассмеялся:

— Поехало нам! Еще бы немного — и тебя вот так, — он прихлопнул ладонью руку, лежавшую на баранке, — а меня этак! — бросил на секунду руль и изобразил пальцами решетку. Я не ответил. Мне было скверно, ох как скверно.

Меня бросило вперед, я чуть не ударился лбом о стекло и очнулся.

Шофер озабоченно говорил:

— Что там у них? Пойти посмотреть...

Из кабины я видел, как он шел к стоящей на обочине «Волге». Поодаль сидела девушка. Верно, давно сидела — под ней была подушка из машины. Из-под капота «Волги» торчала спина мужчины.

Шофер тронул его за плечо, он выпрямился и с жаром стал что-то объяснять. Слов я не слышал, совсем как в немом кино. Шофер предложил мужчине сесть за руль и сам нагнулся над мотором. Через пару минут «Волга» ожила. Девушка радостно вскочила. Мужчина горячо жал шоферу руку.

Мы воехали, и те двое благодарно салютовали вслед.

Шофер добродушно ворчал:

— Тоже мне — водители! Научатся за баранку держаться, и готово. Карбюратор от трамблера отличить не может...

— Вы далеко едете? — спросил я.

— В Ахалсопели, — охотно ответил шофер. — Там совхоз движок продает, а нам он во как нужен. Я с механического. А ты, парень?

Я пожалел, что напросился на вопросы, и соврал:

— Студент.

— Скажи ты, — с уважением резюмировал он и опять затянул свою песенку. Брошенным камнем метнулась перед машиной ласточка. Нас обогнала та «Волга». Из нее махали руками.

Мы ехали дальше, мотор дышал ровно и глубоко, и шофер все тянул свою незамысловатую, беззаботную песенку. Он как ребенок радовался, что смог помочь людям, и, видимо, не собирался это скрывать.

Я сам люблю радость конкретного свершения, вещественную радость выполненного дела, каким бы простым оно ни было. Но этот тип меня бесил. Я опять с неприязнью подумал, что жить ему, наверно, легко и просто, и никогда не мучают таких людей мысли смутные, и тревожные, и трудные.

Ветер был стремительный и свежий. Он врвался в кабину. Казалось, лицо летит в облаке мельчайших капель. А я все думал, и вспоминал, и ничего вокруг не видел.

Я вспомнил любимую фразу Георгия Михайловича. «Лень жить...» — говорил он. Мне импонировала небрежная грусть тона, каким он говорил это. Но почему? Отчего человеку становится скучно, тоскливо и ненужно жить?

Отца погубили враги. Они многих погубили. Я был благодарен людям, которые нам это объяснили. Иначе мы ненавидели бы все.

Но почему так думал и говорил Георгий Михайлович? Выходит, его тоже убили. Или он оказался слабее других? Вот ведь Ладо... Ну, Ладо — совсем другое.

Наступившая тишина словно вырвала меня из сна. Шофер удивленно присвистнул:

— Что за черт!

Щелкнула дверца. Недалеко от дороги стоял белый ягненок и без страха смотрел на нас совершенно бессмысленными большими глазами.

Шофер подошел к нему. Ягненок и не думал убежать. Он покорно позволил взять себя на руки. Шофер стоял у машины и сердито ворчал под нос:



1935320
2010333

— Ах ты, несмышлениш! Можно тебе одному шататься в поле? Ведь волки сожрут... Что же нам с тобой делать? Ну, полезай!

Это «нам» и невольно промелькнувшее сравнение с «ворчливой, но доброй (чигали ведь?) нянькой» заставили меня мстительно сказать:

— Да что раздумывать? Ягненок — ничей. А ведь шашлыки из него получатся...

Как я и ожидал, шофер воспринял все совершенно серьезно. Он метнул в меня возмущенный взгляд:

— И как у тебя язык повернулся сболтнуть такое! Ну, парень...

Продолжать он не стал. Бережно уложил ягненка на сиденье между нами, взялся за руль. В мою сторону шофер больше не смотрел.

Так ему и надо — божьей коровке! Наплевать мне, что он обо мне думает.

Почему Иван Вашакидзе вечно говорит суконные фразы, громкие и пустые, как консервные банки?

Я вдруг представил, что вернулся на завод и комсорг неожиданно вытаращил, совсем по-человечески, глаза и обрадованно заорал без запярых:

— Какого черта дурак ты этангий что ты выдумал молодец что вернулся!

Мне стало смешно. Никогда он не позволит себе такое. Нет, мне не стало смешно. Выходит, Ивана Вашакидзе тоже... Ну, не убили, а так — стукнули по голове, и вместо собственных мозгов у него остались цитаты из книг и речей.

А что осталось у меня?

Должно быть, я просто не заметил, как отовсюду сбежались тучи. Мне показалось, дождь хлынул сразу, прямо из того места, где секунду назад было большое белое солнце.

Шофер поднял стекло. Я сделал то же. Потекли бестолково-торопливые струйки. Ягненок встревожился, приподнялся. Шофер погладил его по голове:

— Не бойся, дурачок.

Потом весело повернулся ко мне — верно, он органически не был приспособлен к тому, чтобы долго злиться:

— Хорошо для урожая!

На шоссе выскочил совершенно мокрый человек. На голове у него был черный от воды мешок, брошенный как плащ. Он неистово замахал руками. Машина остановилась.

— Куда едешь, дорогой? — просительно закричал человек через стекло. — Нас, понимаешь, целый десяток... и женщины тоже. Может, возьмешь? Или не по пути?

Шофер одним длинным вращательным движением опустил стекло и накинудся на человека с мешком:

— Какое время разговаривать? Лезьте все наверх! Там брезент — накройтесь...

Люди обрадованно засуетились. Потом тот же голос уже веселее крикнул:

— Ахалсопельские мы! Из совхоза... А ты куда, друг?
Шофер обрадовался:
— Вот повезло-то! И мне туда. Ну, поехали.
Машина врезалась в упругую стену дождя. Вода хлестала под крыльями, как море о борт катера.

Вот вам наглядный пример: человек человеку действительно друг, товарищ и брат! Я злобно покосился на шофера: тоже мне — благодетель... Ему-то хорошо.

А как же все-таки Ладо? Почему у него ясности и широты хватило бы на десятерых? Может, вполне закономерно все — и что Лиана ушла от меня, и что пришла к нему, а не к другому. Значит, ей все-таки не «красивая» жизнь была нужна? Ладо ведь пока тоже рабочий, не инженер. У него тоже все еще «в перспективе».

Нет, подумал я горько, не «тоже». У меня нет ни сил, ни желания сделать так, чтобы было что-нибудь «в перспективе».

Дождь кончился. Он был короткий, и вода в речке почти не поднялась. Грузовик легко одолел брод. Люди в кузове пели. Пели по-настоящему хорошо, как всегда у нас, если соберутся, даже случайно, несколько человек.

За поворотом шоссе внезапно покрылось серой бляющей массой. Навстречу двигалась большая отара овец.

Притихший, утомленный ягненок возбужденно зашевелился. Рядом с кабиной остановился рослый пастух. Ему было лет тридцать.

— Здравствуйте, — степенно сказал он.

Шофер легко одной рукой протянул ему в окошко ягненка:

— Не ваш случайно? На дороге подобрали.

— Наши ягнята на дорогах не валяются! — оскорбился пастух.

Шофер засмеялся:

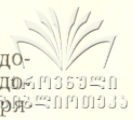
— Все равно — бери! Куда он нам?

Ягненок, со злостью думал я, хорошо быть ягненком! Но я не могу. А что же могу? И впервые с ужасающей отчетливостью я понял значение принятого решения. Как бы там ни было, я работал, чему-то научился, что-то меня уже ждало впереди. И — снова повис между небом и землей.

Значит, иначе и быть не могло. Георгию Михайловичу не уйти от фальши прошлого, как не уйти от своей запоздалой любви. Иван Вашакидзе никогда не научится жить без удобной, спокойной узости мыслей. Отца не вернуть. Я так и дотяну свое неприкайным — без любимого дела, девушки, веры.

Но в город я не вернусь. Это уже мое личное дело, моя собственная большая беда. Никого это не касается. Не смог удержать Лиану, не смог научиться твердо стоять на ногах. Пусть так. Никого это не касается.

...Воодушевленно залаяли собаки — форпосты большого



совхозного поселка. Грузовик остановился у двухэтажного дома. Громко переговариваясь, прыгали на землю люди. Подошел тот, что «голосовал» на дороге. Уже без мешка, с кудрявой непокрытой головой.

— Большое спасибо, дорогой. Выручил! Сколько с нас?
 — Много! — ответил шофер, отводя его руку. — Не хватит у вас финансов. Сочтемся в следующий раз!

Мне показалось, я где-то в кино слышал такой ответ бескорыстного водителя. Я твердо решил всучить ему деньги.

— Куда ты теперь? — спросил шофер.
 Я не умею врать на ходу и потому только неопределенно пожал плечами.

Он сказал:
 — Ладно, подожди, я сейчас.

И вошел в дом. Пришлось ждать. Я хотел во что бы то ни стало отдать ему деньги. Я поставил чемодан на влажную землю, сел на подножку и от нечего делать стал прислушиваться к голосам, доносившимся из открытого окна на втором этаже. Напористо гудел раздраженный бас:

— А где у вас раньше голова была? Где, я спрашиваю?! Утром начинаем работы, все сроки прошли. Подумать только — два больных трактора!..

Кто-то растерянно оправдывался. Меня все это ничуть не интересовало. Я увидел большого лохматого пса. Он сидел в нескольких шагах и, уставясь на меня, на всякий случай шевелил хвостом. Мне стало невероятно тоскливо, и я опять принялся копаться в себе, мысленно делясь всем с этим добрым зверем.

Пес, казалось, внимательно выслушал, зевнул и ушел.
 — Пойдем, парень, — услышал я голос шофера над головой.

Я достал из кармана приготовленную трехрублевку и неловко сунул ему.

— Не дури, — сказал он равнодушно, — пойдем перекусим.

Что ж, я с утра ничего не ел. К тому же, подумал я, хоть угощу его.

В столовой было пусто. Пожилая официантка принесла дымящиеся тарелки.

— Кушайте на здоровье, — сказала она.
 Когда мы утолили голод, шофер достал из кармана грубый металлический портсигар.

— Одну можно! — он с удовольствием затянулся.
 Наверно, подарок фронтового друга, усмехнулся я про себя. Ах, простая, но бесценная вещь, напоминающая о нерушимой солдатской дружбе! Я спросил его об этом, и он с увлечением подтвердил:

— Точно! Золотой парень, он мне теперь брат вроде... Помолчал и с откровенным любопытством спросил:

— Что-то я не пойму тебя — кто ты, куда и зачем едешь?
 Началось, подумал я и, чтобы отделаться от него, крикнул официантке:

— По сто грамм, пожалуйста!

— Нет, — остановил он меня, — я не пью. — И вострой-
чиво спросил опять: — Так что же?

Я понял: не отвяжешься — и скупко объяснил:

— Еду в деревню, к дяде. Надоел город. Останусь там, буду, скажем, библиотекарем работать.

Больше всего задела меня неподдельная искренность, с которой он принялся хохотать. Потом он сказал:

— Ну и шутник же ты! Я сразу понял — шутишь! Куда тебе, такому здоровяку, в библиотекарю? Разыграть вздумал, да?

Почти дрожа от бешенства, я ответил:

— А что? А почему это стыдно? Что, всем в космос летать? Вот вы — под шестьдесят вам, наверно, а вертели всю жизнь баранку и будете вертеть до конца! И все, ничего больше у вас не будет!

Мне очень хотелось посильнее его обидеть. Но он не обиделся. Он, спокойно глядя мне в глаза, сказал:

— Ну, я, парень, другая статья. Так уж у меня сложилось... Женился я в девятнадцать, в наших краях рано женятся, и к войне у нас с Маринкой две дочки уже были. Хотел я стать доктором, да стал танкистом. Два раза горел, полжизнь у меня, потому и водки не пью... Только вот лицо чистое. От своих всего два письма успел получить — потом пропали они. Пришли мы в Германию, встретил я земляка из соседней части — артиллериста, он сказал: увезли твоих немцы, угнали, значит. Три месяца я их искал и нашел наконец. Всех троих в печи сожгли... Я списки проверял — все точно. Познал в госпиталь: врачи диагноз поставили — нервный, мол, этот, шок. Ну, я-то знаю: просто старая контузия открылась. ...После госпиталя да демобилизации не один год по стране мотался. О том, чтоб домой вернуться, и подумать не мог, а иного места не мог по душе найти. Как-то написал другу фронтовому, Вахтангу — тому, что этот портсигар мне перед госпиталем подарил, а на крышке, изнутри, свой адрес нацарапал, — и родом он был из этих краев. Все в письме ему рассказал... И сразу, недели не прошло, ответ: ты что, мол, дурья голова, в бродяги подался? Приезжай тотчас же, ты ведь теперь — как брат мне! Ну, взял я расчет, собрал чемоданишко... Поверишь? Всем селом меня встречали! Так я в Грузии и остался, так и живем мы с Вахтангом бобылями. Он до войны жениться не успел — молод был, а я Маринки своей забыть все не мог и до смерти не забуду... Но ты слушай, парень, дальше. Все я дивился на первых порах, какой у него ладный да просторный дом, у Вахтанга-то. Раз однажды и спрашиваю за ужином: «Ты с чего это дворец такой себе отгрохал? Уж не жениться ли все-таки задумал?». Он вилку отложил и говорит: «Нет, друг, тут история особая. Жили мы в старом нашем доме втроем: мать, брат мой и я. Мама еще до войны умерла. А когда пошли мы вдвоем добровольцами на фронт, то брат — он старше меня был — сказал за нас обоих: «Дом запирать не станем. Потребуется кому — пусть в нем живет. Вернется кто

из нас двоих — авось, новый хозяин не оставит без крыши над головой; не вернемся, так...» — махнул рукой, и зашагали мы с ним пешком на станцию. Брат под Сталинградом погиб. Я после Победы еще три года в Германии служил, ты знаешь... Писать домой не писал — некому было. И порешили наши земляки, что сгинули мы оба. А дом наш так и оставался пустым... И вот повесили в нем, в гостиной, наши портреты — вечная, мол, слава и память героям. А через неделю пришла в сельсовет женщина в черном. «Можно, — спрашивает, — и мне в доме том портрет мужа — воина погибшего тоже повесить?» Потом старушка одна, не спрашиваясь уже, принесла фотографию сына своего павшего. И еще, и еще... И называется сейчас наш с братом бывший дом Домом Павшего Солдата. Село наше небольшое, так двадцать семь человек ушли бить фашиста — и только двенадцать из них вернулись... Ясное дело, пошел я к соседу жить на время. А через месяц мне вот эти хоромы отгрохали. Строили всем селом...».

Старый шофер помолчал и просто, буднично закончил: — Вот и остался я в том селе и, как прежде, шофером. Дорога — она простор дает, покой. Встретишь кого, подвезешь, поговоришь — и легче на сердце. Потому и шофер..

Он легко встал:

— Пойду. Пора грузиться.

Задержался в дверях и еще раз сказал:

— Потому и шофер, парень.

Он ушел, а я все сидел, бессмысленно вода по столу черенком вилки.

За окном протарахтел мотоцикл. Девушка крепко обхватила широкую спину водителя. Лицо ее беззвучно смеялось. Задрав хвост, в панике скакал теленок. Солнце, цепляясь за щетину деревьев, осторожно сползало за близкие горы. Забился о стекло рогатый жук. Я открыл окно и утонул в запахе просыхающей земли... Помните рассказ о человеке, у которого в мозгу была опухоль? Он жил слепой и глухой ко всему. Потом случилось так, что его крепко хватили по голове, и он вдруг услышал и увидел жизнь как она есть и с невозможной прежде полнотой ощутил ее мощное, горячее дыхание.

...Да, это хорошо, это очень здорово, что меня наконец как следует хватили по голове: и случайной встречей со старым шофером, и его страшным и светлым рассказом о себе, и, несомненно, всем тем, что по крупницам складывалось за последний год в моей собственной жизни, накапливалось незаметно и неизбежно. И здорово, что пришел в жизнь Лианы Ладо и вырвал ее из гостиной Венеры Павловны — этой, как точно и грубо сказал вчера Георгий Михайлович, стервы.. Бедный Георгий Михайлович! — подумал я с внезапной жалостью. Но больше не хотел и не мог думать обо всем этом, потому что такие мысли причиняли мне сейчас почти физическую боль. Может, позже, только не теперь, не сию минуту — с меня было достаточно..

огром-
ное усилие,
а потом действительно с интересом и почти бездумно,
принялся следить за все еще нелепо скачущим по улице
глупым желтым тельняшкой. Куда бы он мог торопиться?

И я, сначала превозмогая себя, делая над собой огромное усилие, а потом действительно с интересом и почти бездумно, принялся следить за все еще нелепо скачущим по улице глупым желтым тельняшкой. Куда бы он мог торопиться?

Под окном, невидимые мне, громко спорили люди. Я вышел к ним и в здоровенном бритоголовом дяде не сразу узнал по голосу того, кто недавно бушевал в доме дирекции. Сейчас он говорил почти умоляюще и, видно было, изо всех сил старался умерить раскаты своего баса.

— Дорогой мой, уважаемый, — проникновенно и вкрадчиво внушал он старому шоферу, — ведь тебе ничего не стоит, а нам — спасение! Два трактора, пустяки, за какой-нибудь час управисься.. Понимаешь, захворал окаянный механик!..

— Ну что вы, товарищ директор! — шофер, улыбаясь, беспомощно развел руками. — Какой там час! Тут за полночи не управисься.

— Пусть полночи! — охотно согласился директор. — Тебе виднее, а нам спасение, ты пойми!

— Нет, — сокрушенно сказал шофер, — ничего не выйдет. Утром движок должны монтировать, а я еще не погрузил..

— Как не погрузил?! — обрадовался бритоголовый. — Давно погрузил! Ты людей довел — они и погрузили. Сами вызвались.

Казалось, шофер был огорчен больше, чем сам директор.

— Да не могу, понимаете! — с отчаянием сказал он.

— Я тебе справку дам на завод!

— Что мне справка...

Все замолчали. Тогда я шагнул к шоферу и сказал:

— Можно — я? Позвольте мне отвести машину! Не доверяете? Вот документы — я с автозавода.. Не верите? Вот права..

Еще никогда я не знал так твердо, что сейчас для меня решается все.

Глаза директора вновь загорелись надеждой. Шофер молча смотрел на меня.

— Значит, не доверяете. — Я круто повернулся и почувствовал его руку на плече.

— Почему не доверяю, парень? Только вот с тормозами смотри — поосторожнее... Они, чуть нажмешь, сразу хватают.

Машина была нагружена, и потому шла мягко, как самолет в хорошую погоду. До чего это приятно — ощущать послушную силу мотора. Я ведь говорил: хлебом меня не корми, только дай посидеть за рулем.

Стемнело, и я включил свет. На шоссе лежал стальной блеск — опять прошел небольшой дождь. Я взглянул вверх. Небо было переполнено звездами. Тогда я ненадолго выключил фары, и звезды разом бросились на шоссе и понеслись мне навстречу.

Саргис ЦАИШВИЛИ

Поборник возрождения родного народа

Как поэту, писателю и общественному деятелю, Илье Чавчавадзе предстояло решить, можно сказать, неразрешимую проблему.

Дело в том, что в середине прошлого столетия творческая потенция грузинского народа проявилась далеко не в полной мере. На фоне дремавшего национального самосознания перспектива грядущего развития была как бы затуманена атмосферой подражательства и провинциализма, толкавших грузинский народ к духовному и нравственному вырождению.

Преодолеть этот новый рубеж своей истории грузинский народ мог только чудом, ценой огромного самопожертвования и неиссякаемой энергии. Но это чудо свершилось, казалось бы, невозможное сбылось, и произошло это по инициативе и под руководством Ильи Чавчавадзе, в монолитной личности которого получили отражение лучшие качества родного народа, чьи беды и чаянья он прекрасно знал. «Пусть боль народа будет моей болью, пусть душа моя разрывается от его страданий», — говорил поэт, в душе которого счастливо сочетались и увлеченность великой идеей, и непреклонная сила воли, и непримиримость к врагам. Слова эти стали основой его творчества, той высшей целью, которой он посвятил всю свою жизнь. Поэтому за ним утвердилось высокое имя духовного отца народа, пробудить который, по его глубокому убеждению, было невозможно без желания и умения проникнуться идеалами, продиктованными самой жизнью. Если каждый человек ощутит всеобщую волну энтузиазма, силы его удесятятся, и он осознает себя неотъемлемой частью единого целого.

Такой силой, позволившей Илье Чавчавадзе повести за собой своих соратников, весь грузинский народ, стала необходимость «вернуть судьбу Грузии». И когда дело касалось национального, социального и нравственного ее возрождения, он проявлял непоколебимую твердость и непреклонность в отношении явных и тайных врагов Грузии. Так было, когда черносотенцы попытались посягнуть на национальные чувства грузинского народа, на его бесценное сокровище — родной язык.

Однако великий поэт и мыслитель прекрасно понимал, что самую большую угрозу для национального возрождения

представляют те его соотечественники, которые в угоду личным своекорыстным интересам готовы стать на путь прямой измены этому великому делу. Исходя из этого, Илья Чавчавадзе сознательно обнажал недостатки своего народа, так как считал, что искоренить их можно только таким путем. Говоря словами его любимой героини — Огаровой вдовы, одной лаской никто еще не добивался своей цели. А в своем знаменитом стихотворении «Перо мое дорогое...» он писал:

**Пуcкай на меня клеветцут: «Он имя грузина позорит!
Не хочет скрывать пороков, по злобе глумясь над людьми!» —
Надеюсь, что добрые души понять себе все же позволят,
Сколько в подобной злобе скрывается тайной любви.**

(Перевод Е. Евтушенко)

Наряду с безграничной любовью к народу в своей деятельности он руководствовался велениями собственной мудрости.

Именно поэтому на тернистом пути возрождения грузинского народа своими первейшими союзниками он считал заботу о пропаганде величайших достижений многовековой культуры своего народа, изучение его исторического прошлого, которое в сопоставлении с настоящим и будущим представлялось ему единой цепью, причем выпадение хотя бы одного из звеньев этой цепи — национальным бедствием. Эту внутреннюю связь, эту преемственность времен он воспринимал всем своим существом.

Ярый противник национальной изоляции и замкнутости, Илья Чавчавадзе с первых же шагов на литературном и общественном поприще объявил беспощадную борьбу дилетантам и самоучкам от литературы, рассматривая культурное наследие своего народа в тесной связи с общим процессом развития мировой культуры.

С такой же нетерпимостью относился он и к беспредметному восхвалению прошлого, неоднократно доказывая необходимость правдиво освещать историю. Эта позиция отчетливо проявилась как в его сочинениях на историческую тему, так и в статьях различного характера.

По его мнению, настоящий историк прежде всего должен стараться выявить те движущие силы, которые направляли жизнь народа на разных этапах ее развития.

Сегодня это положение общепризнано, однако для его утверждения потребовалось немало времени. И проложить первую борозду в этом направлении выпало на долю И. Чавчавадзе и его соратников. Ему же принадлежит крылатая фраза об упадке и разложении народа, забывшего свою историю.

Как в своих художественных произведениях, так и в блестящих публицистических статьях он преподавал нам урок глубоко научного переосмысления прошлого и поисков скрытых причин исторического развития.

Историческая концепция Ильи Чавчавадзе, в полном соответствии со всей сущностью его творчества, была основана на реалистической оценке прошлого.

Исходя из этого, он резко критиковал склонность летописцев «Картлис цховреба» («История Грузии») к отражению официальной жизни государства. Известно высказывание Илья Чавчавадзе относительно того, что «Картлис цховреба» — это не история народа, а история царей, народ же, как действующее лицо истории, остается в тени.

Кардинальным вопросом он считал выявление того внутреннего напряжения сил, посредством которого грузинский народ сумел на протяжении столетий сохранить себя, свою культуру, свой язык вопреки многим испытаниям, подстерегавшим их на бурном и тернистом пути.

«Историческая жизнь нашего народа, — писал в связи с этим Илья Чавчавадзе, — насчитывает по меньшей мере две тысячи лет. Много крепких, надежных, но и много непрочных камней было заложено в тот фундамент, на котором сегодня зиждется настоящее и строится будущее. Подтверждение тому, что это на самом деле так, у нас налицо. Разве могли бы мы, горстка людей, сохраниться в течение двух тысяч лет среди стольких неусыпных врагов, разве позволила бы нам жадность других племен сохранить прекрасный сад, который называют Грузией, если бы в далеком прошлом жизнь наша не была основана на крепком фундаменте? Это, однако, лишь одна сторона вопроса, но есть и другая. Почему отстали мы так безбожно от других стран в просвещении или экономическом процветании? Разве не говорит это о том, что в ходе истории хозяевами нашей страны вместе с прочными, крепкими камнями был заложен камень рыхлый и сыпучий? Именно история призвана объяснить и показать, в чем состоит сила нашей родины, а в чем — слабость. И если мы забудем историю, на что же нам опираться в настоящем в борьбе за будущее?»

Наряду с глубоким пониманием истории в этих словах подчеркнута значение прошлого, как исторического урока для современности. А самое главное состоит в том, что правильное осмысление прошлого помогает нашему крупному общественному деятелю и великому художнику предвидеть будущее и намечать пути борьбы за его осуществление.

И действительно, как неоднократно отмечал выдающийся грузинский историк Иванэ Джавахишвили, именно Илья Чавчавадзе одним из первых перенес центр тяжести исследований на изучение социальных и экономических основ, ибо, по его твердому убеждению, одной лишь отвагой и мужеством нельзя объяснить тот факт, что грузинский народ сумел выстоять в неравной борьбе со столькими врагами.

Поскольку грузинский народ — наследник богатой духовной культуры, Илья Чавчавадзе совершенно справедливо считал, что только путем глубокого изучения и достойной оценки богатого культурного наследия Грузии можно обосновать право ее народа на самостоятельное существование в обстановке обостренной национально-освободительной борьбы.

Он поставил целью возродить наиболее значительные достижения грузинской культуры и богатейшие литературные традиции. Литературу прошлых веков он рассматривал как главного союзника в борьбе за национальную независимость грузинского народа.

зинского народа. В связи с этим Симон Чиковани, отмечая большие заслуги грузинских шестидесятников, совершенно справедливо писал, что Илья Чавчавадзе и его соратники разбудили любовь и заострили внимание к поэзии Шота Руставели, Давида Гурамишвили и Николоза Бараташвили. Подобно археологам, производящим раскопки, они вынесли на свет скрытые в недрах истории прекрасные памятники поэтического слова, сделав их общепародным достоянием.

Уникально в этом плане отношение Ильи Чавчавадзе к Шота Руставели, имевшее ряд аспектов.

Илья Чавчавадзе прежде всего — пламенный защитник и тонкий ценитель «Витязя в тигровой шкуре». Поэма Руставели, по его словам, — драгоценнейшее сокровище грузинской культуры, в которое весь народ вложил свои слезы и радостные надежды, душу и сердце, лучшие чаяния и чувства.

Поэтому он вообще упорно воздерживался от оценки поэтических произведений, и тем более такого поэтического шедевра, как «Витязь в тигровой шкуре», с позиций «холодного разума» или так называемого «научного педантизма». По его мнению, тот, кто желает писать о Руставели, должен воспринять его не только умом, но и сердцем, проникнуться духом его героев, почувствовать биение его пульса.

С особенно непримиримой суровостью относился он к тем, кто вольно или невольно, порою в силу невежества, не был способен дать верную оценку бессмертному произведению Руставели. В связи с этим Илья Чавчавадзе неоднократно повторял, что врагам грузинской культуры хорошо известно, каким сокровищем является для каждого грузина-патриота «Витязь в тигровой шкуре», какую опору представляет это творение для его национальной гордости, для сохранения его права голоса на всечеловеческом форуме.

Вклад Ильи Чавчавадзе в изучение и толкование «Витязя в тигровой шкуре» исключительно важен. В этом он был и остается примером для современных руставелологов. Его выводы и понятия сохраняют оптимное значение. По мнению И. Чавчавадзе, поэма Руставели ценна не только тем, что она составляет национальное сокровище грузинского народа, но и в силу того, что по своим художественным, идейным достоинствам и высокому гуманизму это — творение мирового масштаба, стоящее в одном ряду с лучшими творениями таких гигантов, как Гомер и Шекспир, которых сам Илья называл «собратьями» автора «Витязя в тигровой шкуре».

Поэтому он и считал недопустимыми неумеренные восхваления в адрес этой поэмы, которая, по его мнению, сама проложит себе дорогу на международную арену, как один из главных и закономерных аргументов для признания высокого общечеловеческого значения духовной культуры грузинского народа.

В наши дни, когда творение Руставели переведено на множество языков мира, эти слова звучат поистине пророчески.

Столь же ценным и важным следует признать и принадлежащий И. Чавчавадзе художественный анализ «Витязя в тигровой шкуре». В его статьях совершенно по-новому освещены

00135340
012-1110333

художественный мир, особенности сюжета и персонажей поэмы, в которой он видел отражение жизни грузинского народа грузинской действительности, что уже само по себе отрицало беспочвенную теорию так называемого иноземного происхождения этого произведения. Убеденность Илья Чавчавадзе в этом была непоколебима, и дальнейшее развитие руствелологии полностью подтвердило его правоту.

Он «открыл», если можно так сказать, некоторые редкие художественные приемы и глубокий психологизм шедевра Руставели, выявил вдохновившие поэта общечеловеческие идеалы, в силу чего «Витязь в тигровой шкуре» предстает перед нами как предшественник величайших поэтических творений, возникших в последующие века.

Огромный вклад внес Илья Чавчавадзе и в издание поэмы Шота Руставели, «Висрамиани», поэтического наследия Николаза Бараташвили, а также многих других литературных памятников, что, как мы уже отметили, он считал первейшей и неотложной задачей.

Обремененный множеством общественных дел, он не имел ни времени, ни возможности создать систематический курс грузинской литературы (а каким ценным вкладом это было бы в нашу науку!). Но такое намерение у него, как видно, было. Сохранился даже конспективный план этого грандиозного замысла, в котором содержатся наброски основных этапов развития грузинской литературы и отмечены их отличительные особенности.

По существу ни один сколько-нибудь значительный древнегрузинский писатель не остался вне поля его зрения. Достаточно назвать Давида Гурамишвили, в творчестве которого он, наряду с национальными корнями, увидел стремление к новым рубежам, с такой полнотой воплотившееся позднее в произведениях писателей XIX века. Освобождение от всепоглощающего влияния восточной поэзии Илья Чавчавадзе назвал «европеизмом» и во главе этого направления заслуженно поставил Давида Гурамишвили.

Чутье И. Чавчавадзе в оценке наследия прошлых веков было безошибочным, а методология — точной и строгой. И в этом он не изменял правилам своей жизни, основному принципу своего мышления. Ориентируясь только на лучшее (вспомним суровую оценку творчества некоторых представителей древнегрузинской литературы, которых он упрекал в чрезмерном увлечении поэтической техникой, ставшей самоцелью), он исходил из того, что безрассудные восхваления наследия прошлого способны принести только вред.

С точки зрения методологии такая принципиальная позиция и сегодня служит для нас примером.

Все эти заслуги в области национального и культурного возрождения грузинского народа дают основание сказать, что Илья Чавчавадзе и сегодня с нами в борьбе за дальнейший расцвет древней и богатой грузинской культуры.

Созвучность современности

«Величие этой философии — в ее мозолистых руках».

Эти слова в адрес рационалистического мировоззрения высказаны Альбертом Швейцером, с которым у Ильи Чавчавадзе было много общего и по складу ума, и по силе воли. Рационалисты XVIII века рассматривали «неполноценную» человеческую культуру и всю окружающую действительность как нечто требующее видоизменения. Созданию же полноценной действительности, по их мнению, предстояло начаться с них. И тут максимализм творца, который двигал ими, казался беспредельным.

Илья Чавчавадзе тоже с поразительной остротой ощущал, что доставшаяся его поколению по наследству Грузия нуждалась в полном обновлении, а проявившиеся в ее политике и культуре уже в начале XVIII века очевидные симптомы европеизма указывали на ее истинный путь. Ему предстояло связать Грузию с той передовой культурной средой, которая являлась исторической параллелью взаимодействовавшей с Грузией в течение целой эпохи византийской цивилизации, представлявшей собой следствие развития тысячелетней греко-римской культуры, восточную разновидность европейской культуры. В ее общее кровообращение Грузия была вовлечена еще до ее непосредственного влияния на историческое формирование нашей страны. Не только богатейшее духовное наследие такого исторического феномена, каким являлась Греция, но и культурное богатство тех народов, на плечах которых дер-

жалась сама греческая цивилизация, проникали в сознание грузинского народа через Византию. Тем же путем древняя Грузия была втянута в единый процесс духовного взаимодействия мировой культуры.

Этот прерванный цикл полноценного исторического развития, попадая в естественную среду, начинает восстанавливаться с восемнадцатого и девятнадцатого веков. Но только на этот раз роль исторического медиума выполняет восходящий русский культурный мир. И теперь грузинский народ мог равняться на международный политико-культурный курс, следуя именно этим путем. Таким образом, должно было произойти включение грузинского народа в обновленную культурно-политическую действительность и отведение ему своего места в ней. В летописи грузинской мысли историческая роль и национальная целеустремленность Ильи Чавчавадзе истолкованы именно так.

В этом смысле очень интересную культурно-историческую точку зрения развивает в своей статье «Традиции грузинской культуры и Илья Чавчавадзе» Геронтий Кикодзе.

В духовной истории Грузии многогранное творчество Ильи Чавчавадзе стало тем перекрестком, где народность и историчность грузинской общественной мысли органично слились с пафосом гуманности, с социальными устремлениями и нравственными идеалами. Именно в такой плоскости можно судить о роли Ильи Чавчавадзе в эволюции грузинской культуры и литературы.

* * *

Динамику умственного действия, направленную на освобождение труда, Илья Чавчавадзе считает императивом исторического существования. «Движение, только движение является созидателем жизни и силы страны...». В этой известной формуле передана вся сила творческой энергии грузинского народа. Приведение в движение умственных сил, освобождение труда и народный размах действия в его сознании связаны с высшей национальной доблестью.

Особенно сильно в творчестве Ильи Чавчавадзе выражена очищающая способность труда. Свободный труд в его представлении придает смысл бытию человеческому, он — единственная вероятность жизнеспособности грузинского народа.

Илья Чавчавадзе в восторге от нравственного содержания одной древней грузинской фрески, на которой перед Богородицей с веретеном в руках лежат пряди шерсти. Описание этой неповторимой фрески, которое Илья Чавчавадзе приводит в двух разных статьях, принадлежит известному духовному деятелю Габриэлу Кикодзе. В день его похорон Илья Чавчавадзе произнес такие слова: «Если б нам осталась только эта хвала труду, которую он провозглашал в одной своей незабываемой проповеди, и ничего иного, и того достало бы, чтоб имя его распространилось по всей стране и мы почув-

ствовали бы, какого великолепного и мудрого человека потеряли, «Я, мол, сам не видел, — говорит он (епископ Габриэл. — Г. К.) — и только слышал от верных людей, что в одной древнейшей церкви на стене нарисована пресвятая Богородица и перед ней лежит шерсть, в руке держит она веретено и прядет шерсть. Хоть бы я сам собственными глазами [это] видел!» — мечтает восхищенный этой замечательной иконой Г. Кигодзе. — Тогда бы я узнал вторую [сторону] божественного ее характера и величайшее уважение к ней испытало бы преисполненное благоговения сердце мое!..

Как было бы хорошо, когда б каждая женщина постоянно имела перед глазами такую икону пресвятой Богородицы, когда б все время стоял и глядел на нее с любовной улыбкой божественный младенец ее, а сама она держала бы в руке шерсть и веретено и на лице ее божественном была б запечатлена та божественная чистота, спокойствие и любовь, в очах ее сияла бы бездна благоразумия и скромности, которые пленяют сердце человека. Такая икона была бы истинным знаменем, т. е. символом, т. е. признаком долга, достоинства и значения каждой женщины!».

Достаточно, — заключает Илья Чавчавадзе, — этих коротких, но глубоко мудрых слов, для того чтоб человек представил себе все величие духа его и мудрость его...».

Илья Чавчавадзе считал, что для грузинского народа религия на протяжении многих столетий была школой национальной консолидации. Он знал также, что она пускает корни и закрепляется в мире интимных чувств и переживаний человека, что религиозное переживание вместе с интимной провинченностью, приближенное к крестьянскому очагу и представлениям, приобретает также и домашний, бытовой характер.

* * *

Из творчества Ильи Чавчавадзе на нас глядит прежде всего его могучая индивидуальность. Завораживает его цельная, монологичная личность. «Ты есть Петр» — эти библейские слова в одинаковой степени относятся к его непоколебимой воле, к его несокрушимому духу.

Его индивидуальность составлена из грозных черт Демиурга. Люди, влекомые такой волей, устремлялись открывать материки или становились предвестниками новых формаций. Илья Чавчавадзе «породил» Грузию нового образца. Этот гневный талант вместе с тем еще и болен. Он «болен Грузией», и его человеческая ярость не подчиняется никакой установленной норме.

Тревожная обстановка была естественной средой для Ильи Чавчавадзе. Он единолично боролся с несколькими поколениями, с несколькими политическими лагерями, с утратившими историческое чутье представителями своего же сословия. Он добивался, чтобы Грузия нового образца, — которую в сфере

культуры породил он сам, усовершенствовалась и в сфере социального демократизма. Для этого ему нужна была огромная энергия, и он выработал ее в себе, чтоб уберечь родину от неверного пути. Со всеокрушающей страстью обрушивается Илья Чавчавадзе на своих многочисленных врагов, собственной кровью разогревает дело своей жизни, придавая ему непреложность и категоричность завета.

Монолитность личности Илья Чавчавадзе в нравственном и историческом плане как нельзя более соответствовала возложенной на себя миссии выковать будущее Грузии. По этому поводу Константинэ Гамсахурдиа писал:

«Есть что-то ужасающе роковое в том, что одному человеку суждено выносить боль тысяч людей, молиться за всех, нести на себе их тяжкий крест.

Таким был Моисей, такими были Будда, Христос и сама христианская религия...

В груди бушует пламень божий,
Святого жертвенника пыл,
Чтоб я, народ родной тревожа,
Беду и радость с ним делил.

(Перевод Михаила Синельникова)

Если к Илье Чавчавадзе подойти в масштабе одной только Грузии, то прежде всего бросится в глаза его личность. Ни один грузинский писатель прошлого века не имел такого логически четкого и твердого мировоззрения, как он. Кроме того, он обладал тем, чего в минувшем столетии не было не только ни у одного писателя в Грузии, но и ни у кого из грузин вообще. Это была — Личность.

Личность — великое украшение человека, личность — носитель большого и сильного характера. И я хочу выделить Илью Чавчавадзе среди всех писателей Грузии как личность именно с таким характером.

В стране, где индивидуалистическая культура слаба, как раз в такой стране личность с характером — большая редкость.

Характер — градация культуры личности. Некультурный народ именно в силу своей бесхарактерности оказывается покоренным культурным народом.

Во все времена примером наивысшей кристаллизации характера считался сидящий на гранитной глыбе «Моисей» Микеланджело. Один его взгляд — воплощение грозной силы. Мрачная угроза, запечатленная в чертах его лица, — это страх перед возможностью того, что он поднимется с гранитной глыбы и придет в движение.

В Илье Чавчавадзе, безусловно, таились большая угроза и гнев великого пророка! Господь бог экзекутором своей непреклонной воли избирает великого человека. И как он верил, этот поистине великий человек, у него «в груди бушует пламень божий, святого жертвенника пыл».

Поэтому личность Ильи Чавчавадзе — это благодать в безрадостной истории Грузии прошлого века!»¹.

Илья Чавчавадзе — один из главных персонажей исторических трагедий Грузии. Однако мы не претендуем на освещение его фигуры как исторического явления. В нашу задачу входит рассмотрение нескольких главнейших художественных полотен писателя, в которых сосредоточена основная часть его творческой проблематики, наиболее созвучной нашей современности.

* * *

«Видение» — первая грузинская поэма, где главным персонажем выведена идея, а драматизм кроется в самих проблемах. Историко-политическая острота социальной идеи, отображающей здесь биографию грузинского труженика, приобретает значение рока.

По мнению некоторых современных критиков, «Видение» вмещает весь арсенал национально-социальных взглядов Ильи Чавчавадзе, реализованных в его художественном творчестве. В созданной 22-летним поэтом и в дальнейшем подвергавшейся в основном художественной доработке и совершенствованию поэме последовательно и методично изложена творческая и гражданская программа ее автора. Не столь уж объемистая по своим размерам, она, как и разум и сердце автора, вместила в себе всю ожесточенность, все боли, муки и упования Грузии девятнадцатого века.

В «Видении» привлекает внимание некоторая близость Ильи Чавчавадзе к принципам европейского рационализма с его всепобеждающей силой разума, верой в прогресс, рациональными путями познания природы. В силу их разумности этим идеалам надлежало осуществиться.

Видение, как духовный наставник Грузии, обращается в поэме к ней со следующими наставлениями: твои лучшие сыны должны постичь общие (т. е. объективные) законы бытия, возвыситься над повседневностью, лично-личную жизнь рассматривать на фоне общего положения страны.

Пuls общественной жизни должен оживиться, — продолжает великий дух, — и грузин, «возмужав и сердцем и умом», с озаренным разумом должен выработать социальные идеалы. Без этого он падет настолько, что перестанет узнавать жизнь народа за чертой собственной усадьбы, не сможет уверовать в возрождение родины.

Покуда, возмужав и сердцем и умом,
Он не поймет основ общенародной жизни,
Покуда в ход ее не вникнет он с трудом,

¹ Константинэ Гамсахурдиа. Илья Чавчавадзе. Избранные сочинения, т. VII, 1965, с. 235.

Чем может он помочь страдающей отчизне?
Бессмысленно ропща, он погрузится в мрак,
Испепелен навек судьбой своей плачевной,
И слез его поток есть несомненный знак
Бессилия его и немощи душевной¹.



Автор поэмы полагал, что подневольный труд и рабство почти равноценные понятия, ибо исторически труд был одной из особых форм угнетения человека, а посему он уже не облагораживал его, на протяжении веков как клещами сдавливая и унижая человека. Такой труд Илья Чавчавадзе приравнивает к «несправедливостям жестоким»:

Ты сын труда, и на твоих плечах
Ярмо несправедливостей жестоких...

Труд должен обрести такую форму, говорится в поэме, которая не будет походить на гнет; в понятии труда необходимо восстановить нравственные категории, и, наконец, ему следует придать социальную значимость.

Поскольку насущное стремление феодализма сводилось к насилию, будущая общественная структура и нравственно-психологическое обновление представлялись И. Чавчавадзе так: человеку надлежит перестать надеяться на грабеж. Для этого он должен подавить свои хищнические инстинкты. Уступив себя труду, свою громадную энергию преобразив в общественно полезную, он «на земле давно порабощенной» сможет направить труд на высвобождение собственных умственных сил и нравственной сущности:

Труд на земле давно порабощен,
Но век идет, — и тяжкие оковы
Трещат и рвутся, и со всех сторон
Встают рабы, к возмездию готовы,
Освобожденье честного труда —
Вот в чем задача нынешнего века...

Социальное равенство людей для И. Чавчавадзе прежде всего означало возможность жить в любой точке страны жизнью физически и нравственно здоровой, равной перед законом, счастливой «освобожденным трудом». Он полагал, что свободное общество, соблюдение законности и разумное урегулирование вопросов труда повернули бы в сторону добра не только историю Грузии, но и весь цивилизованный мир девятнадцатого столетия. «Где ты воспрянешь с поднятым челом, — вопрошал автор устами Видения, — почувешь силы

¹ Здесь и далее цитаты из поэм «Видение» и «Отшельник» приводятся в переводе Н. Заболоцкого.

творческие
94935920
202508100933

творческие снова и сам не будешь более рабом и не возьмешь в рабы себе другого...».

Демократичность воспринималась Ильей Чавчавадзе, не сомненно, еще и в высшем нравственном, можно даже сказать, религиозном, духовном смысле.

По этому поводу Геронтий Кикодзе писал, что «если Илья Чавчавадзе связан с передовой европейской мыслью своими основными идеями, а именно, идеями прогресса, антиаскетической морали гуманизма и по-здравому истолкованного патриотизма, то тем более связан он с ней идеей, которая занимает в его мировоззрении и практической деятельности центральное место: это — идея демократии не в узком классовом смысле, а в более широком — гуманистическом и культурно-этическом смысле. Он верил, что освобождение угнетенных народов произойдет одновременно с освобождением труда; эту веру он выразил в своем «Видении».

Главнейший вопрос своей поэмы Илья Чавчавадзе оставил на ее конец. И заключается он, конечно же, в идее свободной Грузии. Если социальное зло повержено и урегулированы связанные с этим проблемы, то в логическом порядке из этой идеи вытекает положение о политическом полноправии народов. По мнению И. Чавчавадзе, в стране, где налицо политическое бесправие, где человек чувствует себя как в каземате и где не ожидается улучшения политической погоды, социальное зло попадает на благодатную почву и перерастает в нравственное уродство. И тут поэтическому красноречию поэта нет предела, ибо он чувствует, что гнет самодержавия составил букет духовных, нравственных и социальных пороков. Но, наделенный непоколебимой волей, и тут находит выход, считая, что враждебный, т. е. неразумный, курс по отношению к народу и законности в конечном счете обречен. Как истый демократ, он верил в исторический прогресс, осуществлением и олицетворением которого должны были стать не потребительские ценности, а свободный и счастливый народ:

**Удержит ли страну тиран самодержавный,
Который полюбить не в силах наш народ?**

Симон Чиковани, пожалуй, первым заметил, что свободу Грузии Илья Чавчавадзе не мыслил в отрыве от свободы других народов Кавказа, а решение судьбы грузинского народа вне солидарности с народами-соседями. В своей заслуживающей внимания статье «Поэтическое наследие Ильи Чавчавадзе» Симон Чиковани пишет: «Как нам известно, начиная с вариантов «Видения» Илья связал счастье своего народа со счастьем наций Закавказья. Как певец украинского народа Тарас Шевченко объявил в своей поэме «Кавказ» о большом сочувствии борющимся на Кавказе горцам, так и Илья Чавчавадзе в «Видении» и «Грузинке-матери» выразил чувство

любви и солидарности к братским народам Кавказа. Поэт посвятил блестящие строки дружбе народов Закавказья»¹.
Идея братства и исторического единства народов Кавказа не нова. Она зиждится на мудрой политической идее Леонтия Мровели и отображает обстоятельства своего времени. Поэтому это идея — «вечная», мечта — «вечнозеленая»:

Могучая душа, достойная грузина,
С любовью осенит прославленный Кавказ,
Когда своим лучом священная свобода
Расплавит цепи зла и превозможет тьму
И снова будет горд достойный сын народа,
Что он принадлежит народу своему.

Свой окончательный вид «Видение» обрело в 1872 году. А на исходе века Илья Чавчавадзе куда с большим разочарованием относился к своим социальным идеям и устремлениям. Истекал девятнадцатый век, завершался большой цикл жизни человечества, однако до счастья человека было еще далеко. Политические надежды, социально-нравственные принципы выглядели для него пустыми прожектами. Об этом Илья Чавчавадзе писал с мудрой грустью в последний день девятнадцатого века, в последние его часы (31 декабря 1899 года): «Со своей стороны прошлый век дал много доброго человеку. А спрашивать нужно о том: счастливее или нет сегодня человек, окруженный таким количеством добра, окрепший и усилившийся (от) столь преуспевающей науки. Не думаем. Правда, сегодня человек в целом, беден он или богат, устроен лучше, ему удобнее перемещаться, перекликаться с миром, общаться с миром; сегодня человек лучше одевается, лучше ест и пьет, но счастье все же — далеко. Сегодня между бедным и богатым, между сильным и бессильным большая грань, чем когда-либо. И здесь-то острота той боли, исцеление которой девятнадцатый век завещал веку грядущему».

* * *

Общепризнанно, что в «Отшельнике» Илья Чавчавадзе достиг поэтической вершины. Ни в одном другом из его поэтических созданий глубочайший трагизм человека, обоснование которого дано в философии романтизма, не выражено с такой силой, как в «Отшельнике». Ощущение трагического стоит здесь на классической высоте. Основание тому — произросшая в природе человека вечная разобщенность между плотью и духовным началом, между реально существующим и желанным миром, которая всегда омрачала его сознание.

Вспомним в этой связи содержание поэмы. Еще не пожилой мужчина, для которого духовная жизнь — не химера,

¹ Симон Чиковани. Поэтическое наследие Ильи Чавчавадзе. Сочинения, т. III, Тб., 1967, с. 153.



а явление субстанционного порядка, покидает свою обитель из-за порочности земной жизни и поселяется у подножия Какабека, в горном монастыре, где углублением духовной жизни намеревается достичь ощущения нравственного совершенства.

Однако, несмотря на удивительную духовную чистоту, он и тут — в Вифлеемской обители — продолжает считать себя «несчастливым», бесспорно, потому, что оторван от недр жизни. Лишь на миг ощутил он себя на высочайшей волне счастья. Когда в образе земной красоты и любви перед ним предстанет пастушка, стены его пещеры обогреет тепло ниспосланной с грешной земли жизни. Читатель не удивляется, когда Отшельник совершает роковую ошибку. Он не испытывает чувства неловкости перед иконой Богородицы, наклонясь над пастушкой с тем, чтоб прижать к груди эту теплую жизнь и навсегда соединиться с нею.

Но это равносильно попытке побороть полную противоречий «двойственную» натуру человека, преодолеть ее.

Или иными словами — равносильно появлению жизни в этой обители и любованию ею. Но такого, конечно, не бывает. И человек терпит поражение (на это в поэме указывает **лишение** регалии высшей чистоты).

Хотя в поэме человек и терпит поражение (а Отшельник — человек), мы не можем предполагать, будто в ней «побеждает жизнь». В финале в центре внимания автора стоит человек, а символический образ пастушки остается вне поля его зрения. Основой трагедии человека здесь признано не преодоление земных инстинктов, а иссякший для него вследствие роковой попытки источник небесной чистоты.

В «Отшельнике» Илья Чавчавадзе нарисовал не отвлеченного сверхчеловека, который трудится для взаимослияния полярных начал жизни или для подчинения ее нравственного закона — личному. Здесь дан образ человека, который не в силах объединить эти две стороны, считающиеся несовместимыми и ставшие источником нравственной трагедии.

В грузинской критической мысли давно утвердилось, ставшее узаконенной традицией, следующее мнение об «Отшельнике»: если человек убежит от земной жизни и повернется к ней спиной, его ожидает судьба Отшельника и он канет в небытие. Эту точку зрения, как известно, утверждал Кита Абашидзе, отмечавший в своем труде «Этюды», что главная мысль поэмы заключается в следующем: «Каждый человек, избегающий жизни и поворачивающийся к ней спиной, будет наказан, как Отшельник, и наказующей силой в таком случае выступит сама жизнь».

Вопреки вышеприведенному взгляду, мы находим возможным в ином направлении искать главную мысль поэмы и иначе доискиваться источника человеческого трагизма.

С одной стороны, автор действительно в мрачных красках рисует суть жизни. Мы помним, что скрывается за спиной прекрасной пастушки, которая представляет в поэме персонифицированный образ живой жизни:

Где день и ночь вослед за человеком
Влачится грех, коварный, словно вор,
Где истина, не принятая веком,
Обречена на гибель и позор,
Где все превратно, временно и тленно,
Где нож на брата поднимает брат,
Где клевета, коварство и измена
Взамен любви вражду боготворят...

С другой стороны, наряду с высказанными в мрачных тонах мыслями о жизни Илья Чавчавадзе привлекательно рисует божественно упорядоченную жизнь уединившегося в монастыре сравнительно молодого Отшельника. Описав его молитвы и духовную жизнь, автор вообще показал высокое бытие. Материально изобразил движение души. Так же предметно ощущает Отшельник и бесплотное духовное начало. Проникший в келью луч — внешнее очертание души, ее поэтическая конфигурация.

Вспомним, какой представлялась Микеланджело форма собственной души на фреске «Страшный суд». В представлении читателя поэмы проникший в келью луч света — это очищающаяся и материализованная душа.

Следуя художественной логике поэмы, трудно поверить, что отрицательную эмоцию вызывали те картины, которые передавали образ нравственно невозмутимого существования Отшельника:

Достигнув монастырского порога,
Убил он в сердце грешные мечты,
Чтоб в судный день предстать пред очи бога,
Не запятнав душевной чистоты.
Он день и ночь на страже был духовной,
Здесь, в глубине однообразных скал,
Он плоть свою — сосуд тоски греховой —
Слезами покаянья омывал...

Автор считает, что даже преисполненный множества пороков и неприемлемых недостатков этот мир, эта земная жизнь — все же, как красивая женщина, привлекательны, сладки и бесконечно пленительны.

Отступление и отмежевание Отшельника от жизни тоже имеет свои слабые и отрицательные стороны. Однако поспрание той душевной силы и вдохновенной душевной чистоты, которая обратилась в чудотворную силу, согласно художественной и эмоциональной логике поэмы, непростительно.

Трагическая коллизия возникает тогда, когда обе эти сферы должны соприкоснуться, соединиться друг с другом. Своим «Отшельником» Илья Чавчавадзе утверждал, что высшее духовное существование нравственно несовместимо с земным несовершенством. Его позиция — конечно, максималистская. Полудтона и компромиссные переживания чужды и неприемлемы для романтического настроения. В этом смысле Илья Чавчавадзе суверен грузинского духа.

Трагический узел поэмы развязан в двадцать третьей и двадцать четвертой главах. И в самом деле, разве не здесь стремится Отшельник к земной жизни, к этой прекрасной настушке, которая, возможно, впервые оказалась в стенах обители, а оказавшись, тотчас попросила Отшельника отогреть озябшую плоть. Идейный центр поэмы, центр ее трагизма именно там, где Отшельник всем существом стремится к жизни, принимает ее, желает слиться с ней. Однако, как это вытекает из той же поэмы, такой «союз» невообразим, недопустим, так как в виде роковой расплаты Отшельник одновременно утрачивает собственную чудесную духовную чистоту, т. е. высшее достояние своей жизни... Эта несовместимость, этот этический дуализм, по мнению Ильи Чавчавадзе, — древнейшая и первейшая трагедия человека.

Молодой Отшельник потому и поднялся в Вифлеем, что там, внизу, в земной сфере он не смог вынести духовной дистрофии, недостатка духовной пищи. Промерзший в стенах обители и умерщвляющий плоть, он еще раз потянулся было к теплу жизни, но его тотчас охватила нравственная раздвоенность, парализующее моральное колебание. И именно в силу этой духовной раздвоенности, согласно авторской воле, Отшельник утрачивает свой приобретенный дар и после этого, естественно, погибает.

В течение двух тысяч лет христианство стремилось решающим преимуществом духовной жизни искоренить в существе человека двуединое начало. Максимальное выдвижение духовного начала должно было победить жизненные права плоти. Дуализм человеческой природы всегда вызывал соблазн ее одоления. Эта многовековая попытка христианства, как известно, завершилась крушением его надежд.

Из современников Ильи Чавчавадзе тот же вопрос являлся центральной проблемой и для Ф. Ницше. Его дionисийский человек, Заратустра, *amor fati* или «сверхчеловек» не что иное, как тщетная попытка решения этой антиномии в существе человека.

Великий гуманист XX века Альберт Швейцер по этому поводу пишет:

«Первоначально Ницше надеялся обосновать высшую мораль жизнеутверждения как развитие воли жизни к высшей духовности. Однако при первых же попытках изложения этих идей они принимают несколько иную форму. Высшая духовность означает на деле отказ от естественных стремлений и естественных требований к жизни и переходит по существу в жизнеотрицание. Высшее жизнеутверждение может, следовательно, заключаться только в том, что все содержание воли к жизни претерпевает максимальный подъем. Человек выполнит задачу своей жизни лишь при условии, если он свободно и абсолютно сознательно будет утверждать все, что в нем есть... В том числе и свое стремление к власти, и свои нечистые желания.

Ницше, однако, не в состоянии устранить противоречие между духовным и естественным в природе человека. Как



16.03.59
112.00.010333

только он начинает выдвигать естественное, духовное отходит на задний план. Постепенно, под заметным влиянием прогрессирующей психической болезни, его идеальный человек превращается в «сверхчеловека», который выходит победителем из всех испытаний, посылаемых ему судьбой, и в беспощадной борьбе утверждает свою власть над другими людьми»¹.

В конечном счете можно сказать, что главный персонаж поэмы — художественный образ, олицетворяющий не только аскета, но и человека, испытавшего трагическую раздвоенность личности. Живя в долине, он считал этот мир обителью греха и владением зла. Но и поселившись в неприступной Вифлеемской пещере, продолжает ощущать себя несчастным. Отшельник — жертва нравственной разобщенности.

Когда в его одинокую келью проникнет жизнь, обретшая с целью оболыщения облик прекрасной девушки, он с удивительной легкостью поддается ее очарованию. Но этот естественный акт нарушил отнюдь не только его строгий внутренний нравственный закон. Автор наглядно показывает, что в его духовном мире возликовал замаскированный, как бы затаившийся именно плотский его «противник», «враждебное», «отвергающее» второе начало его существа. И тут в главном герое возникает нравственный бунт, непримиримое разграничение аффектов, происходит превращение одного человека в два существа. Художественным видением Илья Чавчавадзе глубоко проникает в утонченную душу своего персонажа, показывая проступившие в ней трещины:

Но что это? Чей это адский шепот:
«Ага, попался праведник?». Чей крик,
Чей злостный вопль, чей богомерзкий хохот
В погибшем сердце явственно возник?
«Что, одолел тебя?» Откуда эти
Слова проклятые? Ужели он
Сошел с ума? Как жить теперь на свете?
Но, может быть, все это только сон?
И оглянулся он, объятый дрожью, —
Нет никого... Лишь девы молодой
Дыханье слышится... И пал он ниц к подножию
Изображенья матери святой.

И в итоге, как уже отмечалось выше, согласно нравственной философии поэмы, Отшельника карает не сама жизнь, а высшее духовное право.

В результате длительного упражнения (аскеза) души Отшельник постигает силу чистоты, придававшей ему прежде чудотворную способность. Однако по своей природе она такова, что слияние с земным сочтется ему за измену этой душевной силе. Герой этого романтического произведения — личность

¹ Альберт Швейцер. Культура и этика. М., 1973, с. 249.

особой структуры. Это чрезмерно чуткая душа, в которую крайности человеческой природы и их несовместимые этические несоответствия вносят трагическую дисгармонию.

Э. А. Р. 35920
30220010033

* * *

Вопрос человеколюбия решался Ильей Чавчавадзе не на эмоциональном уровне. Писатель считал его справедливой точкой зрения. А справедливым проявлением человеколюбия ему представлялась необходимость отмены смертной казни. Явственнее всего эта его позиция проявилась в одном из поздних и наиболее интересных в психологическом отношении рассказов — «У виселицы».

Незрелость и неполноценность общества того времени, эгоистическая суть общественной структуры давали Илье Чавчавадзе основание думать, что социальная ответственность человека еще дремлет и что отсюда — возможность любого зла. По его мнению, «бдительность души», неусыпность социальной мысли и гражданственная смелость парализованы кризисом национально-политического и экономического характера.

В рассказе «У виселицы» реализована точка зрения, согласно которой все общество ответственно за любую аномалию, где бы она ни возникла. По мнению писателя, чувство ответственности цементирует общество, формируя его в социальную и культурную единицу. Однако автор не ограничивается одними декларациями. Сюжетная логика рассказа ведет нас в глубь явления. Признавая, что общество ответственно перед каждым отдельным человеком, И. Чавчавадзе по ходу развития действия в рассказе подводит нас к мысли о виновности человека перед человеком.

Вот что пишет брат повешенного главному герою рассказа — Петре: «Разве ты и мой отчим не соумышленники? Разве не ты повесил единственного моего брата? Разве не ты довел его до виселицы?».

Сын ничего не понял, и отца прошиб холодный пот.

— Я-то тут при чем? — крикнул Петре и застонал, дрожа от страха¹.

Петре — крестьянин старого образца, еще не почувствовавший себя членом общества. Его связь с природой все еще теснее, чем с социальными ценностями. Он пока — в числе наиболее пассивных членов «общества». Поэтому его «вина» перед законами общежития, перед каждым отдельным человеком также минимальна и «пассивна». Но старик Петре не знает и этого. Он считает себя невинным, как природа, как часть ее.

Поэтому и заканчивает Илья Чавчавадзе свой драматичный рассказ фразой, разбавленной умеренной дозой иронии: «И правда, при чем тут наш старый Петре?»...

У рассказа есть и другой (значительно более слабо развитый) психологический план. И тут Петре не проявляет ду-

¹ Здесь и далее цитаты из рассказа «У виселицы» и повести «Отарова вдова» приведены в переводе Е. Гогоберидзе.



ховных признаков неотесанного крестьянина. В данном случае он — один из обыкновенных людей, обыкновенных обывателей с довольно-таки развитой амбицией.

Дело в том, что две последние трети рассказа отведены душевным переживаниям Петре. Традиционно считается признанным, что Петре не может поверить в факт повешения своего родного брата Бежана в силу своей наивной доброты, неспособности даже представить себе возможность подобной бесчеловечности. Считается, что переживания Петре вызваны именно невероятным характером самого этого факта. Нам же этот взгляд кажется верным не до конца.

Конечно, допустимо, что автор задумал и продумал этот рассказ именно так, как подсказывает вышеупомянутая точка зрения. В таком случае в процессе осуществления произведения приобрело совершенно новые и отличительные психологические черты, в силу которых художественный образ Петре предстает перед нами в новом свете.

Соответствующие места рассказа свидетельствуют о том, что для Петре повешение человека не являлось чем-то невероятным. «Петре замешался в толпу, чтобы послушать, о чем гомонят люди.

Тут он узнал, что, как только ударит пушка, на горе Махате повесят какого-то человека. Петре никогда в жизни не видел такого зрелища, и его неудержимо потянуло на Махату.


«Много горя и бед видел я в жизни. — подумал он. — Давай-ка погляжу и на это!». Сказал и двинулся вместе с толпой туда, к Махате...».

В другом месте читаем, что Петре охвачен своеобразной нравственной покорностью. Он даже укоряет себя за то, что у него возникло желание поглядеть на то, как будут вешать человека. «Ай, ай, ай, и проворно же человеческое сердце на грешные дела!.. Сорвался и кинулся, точно бычок! И куда? Любобаться, как вешают человека! Вот оно, сердце наше, какое маленькое, а сколько в нем греха и благодати».

Пришедший на место казни и смешавшийся с толпой Петре чувствует себя одиноким и растерянным. Какое отчужденное, странное чувство должно было охватить его, если сфера его переживаний по существу заполнена и занята тем, обманывается он или — нет, разыгрывают его и все это представление или — нет.

«В сердце Петре запало великое сомнение. Теперь им владела одна только мысль, одна забота — узнать наверняка, ошибался ли он, когда думал, что все это представление, обман, или когда готов был допустить, что на его глазах по-настоящему повесили человека. Пожалуй, первое казалось ему более обидным. «Как меня, старого человека, могли до того одурачить представлением, что я обман принял за правду?». Но если бы в конце концов оказалось, что он правду принял за обман, что ж. — с этим наш Петре примирился бы как-то легче. Так или иначе, ему очень хотелось знать истину».

Непривычная обстановка церемониала казни вызывает в приехавшем в город Петре чувство неполноценности. На-



вязчивой идеей для него становится сомнение — не для того ли собрался этот народ, чтоб его, деревенщину, одурачить. Весь эпизод повешения Бежана методично сопровождает это навязчивое чувство неполноценности Петре. Человека вешают, а Петре оберегает свою амбицию — если, мол, я спрошу, что на самом деле происходит, меня могут засмеять. «Или, чего доброго, меня, деревенщину, хотят одурачить? Ай, Петре! Берегись, не поддавайся обману! Смотри, старина, не осрамись, как бы не стать тебе посмешищем перед всем народом! Прокляни, господи, всех городских: мужчина ли, женщина ли, непременно угадают деревенского человека, как будто у нас на лбу написано».

Эта нравственная аномалия, это психологическое несоответствие описаны как в классической литературе прошлого века, так и в произведениях современных писателей. Ее структура приблизительно такова: в своем поведении человек легко отвергает значительные явления общего порядка, если противопоставляет им нечто малое, но болезненное лично-конкретное. Пожалуй, лучшей иллюстрацией этого комплекса могут послужить поиски трубки Тарасом Бульбой. Но нам хотелось бы в качестве примера привести известную повесть Льва Толстого «Крейцерова соната». Это произведение, начинающееся как очерк и достигающее под конец толстовской силы человеческого трагизма, в силу вышеупомянутого психологического механизма находится в некотором родстве с рассказом Ильи Чавчавадзе «У виселицы» (кстати, опубликованном на одиннадцать лет раньше «Крейцеровой сонаты»). Как и Илья Чавчавадзе, Лев Толстой видел в подобной структуре человеческой души ее недостаток и слабость.

Приведем в доказательство этого несколько соответствующих мест из «Крейцеровой сонаты». Первый случай касается оценки подготовки помещика Позднышева к убийству жены. Будущий убийца рассказывает: «Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и помню, что я сказал себе: «Надо после найти их, а то пропадут». Потом я снял пальто, которое все время было на мне и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда».

И во втором эпизоде Л. Толстой подчеркивает то же психологическое несоответствие. Позднышев ночью застигает собственную жену в обществе музыканта. «Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною».

Еще одна подобная картина. Сестра убийцы просит Позднышева, чтоб он вошел к своей умирающей жене. Для Позднышева жизнь — ритуал. И главное — правильно его выполнить. Об этом он и думает.

1935341
0102110333

«—Вася, поди к ней. Ах, как это ужасно, — сказала она.

— Пойти к ней? — задал я себе вопрос. И тотчас же от-
ветил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так делает-
ся, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо ид-
ти к ней. «Если так делается, то надо идти, — сказал я се-
бе. — Да если нужно будет, всегда успею», — подумал я о
своем намерении застрелиться и пошел за нею. «Теперь бу-
дут фразы, гримасы, но я не поддамся им», — сказал я себе.

— Постой, — сказал я сестре, — глупо без сапог, дай я
надену хоть туфли...».

Но вернемся снова к теме Петре.

Помимо специфических для крестьянина тех времен ком-
плексов, нерешительность, преисполненность сомнениями и
стыдом Петре (т. н. комплекс вины) предопределяются и его
психологической отчужденностью. Свидетель такого редкого
«зрелища», как казнь, Петре, глядящий на воздвигнутую висе-
лицу и церемониал, выполняемый окружающими ее солдата-
ми, оглушенный воем толпы и возбужденными криками жен-
щин, кажется удивительно отчужденным. Он ободряет себя
разными увещеваниями, но, утратив чувство реальности, не мо-
жет разобрать — вешают человека или — нет! К этому добав-
ляется еще и то, что Петре страшно стесняется обратиться к
кому-нибудь, задать вопрос. И только по письму своего бра-
та Бежана узнает, что сегодня в полдень (когда выстрелила
пушка) он стал очевидцем публичной казни еще одной рядовой
жертвы социального зла.

К сожалению, вышеупомянутый нравственно-психологиче-
ский план, своеобразный психологический «разлад», это бес-
пощадное противоречие, разыгравшееся в сознании Петре и
вынесенное автором на передний художественный план произ-
ведения, не мотивированы должным образом и не показаны в
различных ситуациях.

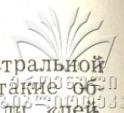
* * *

С точки зрения постижения первоизданной языковой образ-
ной природы книги, подобной «Отаровой вдове», еще не напи-
сано на грузинском языке. Языковой пульс грузинской
реалистической прозы был нащупан рукой Ильи Чавчавадзе.

«Язык свой мы в хижину свою укрыли...» — отмечает
он.

Народная образность «Отаровой вдовы», которая каче-
ственно отличается от артистической образности и опережает
ее, не стилизована, органична, обладает стихийной природой.
Художественно-языковая образность прозы Ильи Чавчавадзе
так естественна потому, что исходит из «исторической» па-
мяти народа. Однако если мы не ощущаем этого резко, то
лишь потому, что язык этот в народной памяти и народной
речи, как возможность, присутствовал всегда.

В прозе Ильи Чавчавадзе встречается не одна метафора,
которая прежде в представлении грузина являлась моделью



мироздания. Разве не приближаются к мифической и астральной модели древнего представителя грузинского народа такие различные понятия, которые в прозе И. Чавчавадзе стали «пейзажными» метафорами? Вот как рисует он в «Отаровой вдове» картину рассвета: «Наконец занялась заря. Ночь поступалась в ворота ко дню...».

«Ночь простилась с миром. Отдернулась наполовину завеса, скрывавшая небо. В вышине проступила синева. Утро распахнуло ворота дню».

Этим мы хотим сказать, что Илья Чавчавадзе обладал не только удивительным даром вникать в национальные модели бытия, создание которых составляло высшую цель его сознательной жизни. Разработанный им язык, как солнечные лучи, обладал способностью направленного во все стороны бесконечного и многообразного распространения.

Необходимость проведенной им языковой реформы виделась ему в некотором бесплодии дореформенного языка, в котором он не усматривал уже плодотворных истоков. Для развития науки, культуры и литературы он оказался недостаточным, так как сам представлял своеобразную вершину, итог, потолок, конечную между одностороннего развития литературного языка.

Илья Чавчавадзе было ясно, что с точки зрения художественности «древность» и «историчность» могут интенсивнее проявиться в литературном языке, чем в народной речи. Но Илья Чавчавадзе не ратовал за создание архаичной языковой «маски» или литературной мистификации языка: не существовало эпохального языка, который считался бы общегрузинским и общенациональным явлением. Не существовало языка, который вытянул бы его на поверхность национального сознания и причастил бы его к высшей духовной продукции нации. Не существовало языка, который на широком фронте грузинской культуры превратился бы в предмет широчайшего потребления. Как мы знаем, за решение этих вопросов и взялся Илья Чавчавадзе.

Павле Ингорюк, указывая на благотворность влияния диалектов на язык, писал: «Илья первый в грузинской литературе отважился для передачи своих идей обратиться к провинциальному диалекту. И здесь преодолена простая этнографичность; по линии поэтического стиля Илья приближается к первоисточнику грузинского языка. В «Записках проезжего» дана полная адекватность поэтических идей с тем жилистым народным языком, в котором пока еще не сломлена первозданная мощь и художественная образность».

Как отрадно, что утонченный интеллигентный писатель обращается к простой народной речи! Благодаря Илье Чавчавадзе ее формы, как и народная проникновенная интонация стали категориями художественного порядка. Рассказы Ильи Чавчавадзе — это культурная проза, так же как это нужно оказаться и с не меньшим правом о прозе Саба Орбелиани.

Если литературный стиль и литературный язык, как художественная маска и экспрессивное средство, не терпят не-

подвижности, однородности и в ходе смены времен непрерывно видоизменяются, то народные основы языка составляют вечный и прочный континуум. Это последнее неизгладимо, всеобъемлюще и следует не только развитию писательской жизни, но и народа в целом. Говоря словами одного французца, могилы неподвижны, а колыбели качаются.

* * *

Примечательно, что имени Отаровой вдовы читатель не знает. Возможно, не менее примечательно и то, что она вдова.

Отарова вдова — живой образ патриархальной Грузии, вечный облик деревенской (грузинской) исторической жизни, «вечной крестьянки». Отарова вдова — безымянный герой истории Грузии. Она — нравственный краеугольный камень нации и ее биологическая сила.

Этот безымянный персонаж — воплощение бездонной любви самого Ильи Чавчавадзе к нашей патриархальной и деревенской крестьянской Грузии, неразделимость с которой он чувствовал так остро. Поэтому правы все те, кто сумел показать, что своей железной силой воли и бурной страстностью, самоотверженными действиями и извечной наступательностью Отарова вдова очень походит на духовный автопортрет Ильи Чавчавадзе.

Разве не подойдут для общей характеристики его личности и биографии такие штрихи из повести:

«Мимо не пройдет, непременно привяжется, если что-нибудь не по нраву. Редко для кого находилось у нее ласковое слово...».

«В деревне твердо помнили, что вдова не любит ни пустого хвастовства, ни пустых угроз. Слово у нее никогда не расходилось с делом».

«Никто не мог бы сказать в точности: любят вдову в деревне или не любят. Но бояться боялись все».

«...Потому-то я и сказал: то ли он бешеный, то ли отмеченный богом... Мать такая же бешеная, неистовая...».

Правда, эта последняя фраза сказана о Георгии Отарашвили, однако ведь и он плоть от плоти своей великолепной матери и в нравственном отношении составляет с ней одно целое. Раз уж пришлось к слову, надо сказать и следующее: если правда, что Отарова вдова олицетворяет духовный портрет Ильи Чавчавадзе, то нельзя не признать Арчила рупором его социальных идей. С другой стороны, так же как Георгий представляет собой литературное развитие и продолжение художественного образа своей матери, так и Кесо как социально задуманный персонаж дополняет и в другой плоскости повторяет (своего брата).

Илья Чавчавадзе всегда (а в период написания «Отаровой вдовы» — особенно) думал, что социальные и нравственные барьеры между грузинским дворянством и крестьянством одолимы. В одной из своих статей он доказывал, что словесная разница между родовитой аристократией и крестьян-

ством не ощутима. Слова «წოდება» («сословие») раньше и не существовало. Это только недавно введенное обозначение для выражения русского понятия «сословие». Как мы видим, писатель не жалел сил и энергии, прибегал к любому пути, чтобы достичь примирения сословных интересов в Грузии.

Всю драму бытия, всю национальную боль Илья Чавчавадзе увидел в духовно-сословном отмежевании — в этом «рухнувшем мосту». Нация разделилась на два лагеря — «получеловеков» и «полусуществ» — жалуется он в этом произведении. Вот чего достигла история за две тысячи лет своего развития.

Такая социальная поляризация была единственным стихийным путем возникновения высшего общественного слоя, родовой аристократии, из рядов которой пополнялась в основном молодая грузинская интеллигенция.

По мнению Ильи Чавчавадзе, стихийное развитие истории в этом отношении должно заменить и исправить разумное направление общественной истории. Для этого нужна взаимодоговоренность, воссоединение, слияние общественных сословий и слоев... В повести, как и следовало ожидать, об этих вопросах рассуждает в основном Арчил. Он чувствует себя таким же «одиноким», такой же «отсеченной половиной» и духовным «вдовцом», как одиноки Отарова вдова, Георгий, Сосиа. Кесо на похоронах Георгия «в глубоком трауре». И правда, все в этой повести одиноки, все как бы «овдовевшие». Все герои социально одиноки, так как, по мнению писателя, вся нация разделена на две несчастные части, и поэтому она разбита социальным и нравственным параличом.

«Он — половина, отсеченная от меня: я — половина, отсеченная от него. Я сокрушаюсь об утраченном, мне жаль...».

«Сердце одиночки, если нет рядом другого человека, — только мешок, который гонит кровь по человеческому телу, берет ее и отдает. А где тот, другой? На том берегу, далеко-далеко!».

«Мы полулюди, и горе нам — отсечена лучшая наша половина...».

Это — голос самого Ильи Чавчавадзе, иллюстрирующий его социальные взгляды. Когда автор хочет показать сферу душевно-психологических переживаний своих персонажей, он делает это весьма искусно (Отарова вдова, Георгий); но когда он желает изложить социальную программу и социальные идеалы через того или иного персонажа, то в таком случае психологическую подоплеку движения души заменяет персонификацией социальных идей (Кесо и Арчил).

Кесо (так же как и Арчил) желает одолеть социальный порок всемиростивым сердцем. Парадокс, между тем, заключается в том, что отвлеченный социальный взгляд подсказывает одно, а конкретная духовная потребность — совершенно иное. Идею всепрощающей гуманности история поместила в траурную рамку. Если бы писатель нарисовал Кесо таким же живым образом, каким вылепил Отарову вдову, то он с большей убедительностью должен был бы показать, что одна из первых представительниц грузинской интеллигенции XIX века



испытывает резкую духовную несовместимость в общении с грузинским крестьянином.

* * *

Феномен Ильи Чавчавадзе и поныне поражает нас своей значимостью, своей величественной цельностью деятельной и творческой личности, своим этическим героизмом. Монументализм его основных художественных образов свое волевое начало берет как бы в индивидуальных чертах самого автора (образ Старца из поэмы «Видение», пустынный из поэмы «Отшельник», Отарова вдова из одноименной повести, образ мохевца из «Записок проезжего»...).

Великого грузина сближает с нашей современностью, в первую очередь, демократизм, осмысленный и преподанный в его творчестве не только в общественно-политическом аспекте, но и в духовном измерении. Для Ильи Чавчавадзе основной формой гуманизма XIX века является духовное понятие демократизма, который не лишен также окраски христианской традиции человеколюбия и идеи равенства. Грузинский классик духовным знаменем своего века считал демократизм и будущее Грузии представлял воплощенным в его развитых формах.

Утилитаризм он рассматривал, как необходимый этап в развитии эстетической мысли Грузии прошлого столетия; утилитарный взгляд на предмет искусства не противоречит самым высоким интеллектуальным запросам, изысканным эстетическим нормам и моральным идеалам; литература должна самым активным образом формировать народное самосознание, двигать его вперед и давать научно обоснованное направление. Своим теоретическим помыслам он придавал скульптурную выразительность и скреплял их своей литературной практикой.

В грузинскую литературу (во всех ее жанрах) Илья Чавчавадзе на самом современном уровне вводит острое публицистическое мышление и гражданское устремление, обличительный пафос и сарказм неприятия, социальный эпатаж и гротеск, этический критицизм. «Человек подвержен обличению» — под этим критическим знаком Илья Чавчавадзе продолжает великие традиции реалистической прозы Сулхана-Саб-ба Орбелиани.

Этери ГУГУШВИЛИ

«...И В ЛЮБВИ, В БЕСПОКОЙСТВЕ, В ТОСКЕ...»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ

Дорогая Белла!

Мне не хотелось бы, чтобы форма моего обращения к Вам воспринималась кем-нибудь и Вами, прежде всего, как претензия на исключительность. Согласитесь, что в наш бурный и стремительный век, не располагающий людей к эпистолярному жанру, попытка обратиться к нему не обнадеживает своей неуязвимостью.

Не обнадеживает и другая сложность: объять все — не темы, нет, — **заботы**, которые Вас волнуют, представляется делом далеко нелегким. И хотя Ваши уважаемые оппоненты склонны порой утверждать, что круг Ваших тем ограничен и характеризуется одноплановостью эмоций, что им присуща узость интересов, мне, читающей и перечитывающей Ваши стихи, видятся в них глубинные пласты, «взрыть» которые до самого основания надо любовно и бережно, иначе неосторожностью прикосновения можно разворотить их природу — они, эти пласты, достаточно аккуратно уложены, в них живет соразмерность и точность укладчика, есть своя обоснованность и логика существования. Впрочем, мы еще вернемся к этому, а теперь, поверьте, что писать Вам о Вас побудили меня, прежде всего, любовь к поэзии и трепет восторга, рожденный Вашей новой книгой «Сны о Грузии», так любовно и бережно составленной Георгием Маргвелашвили.

Я предвижу вопрос: а разве достаточно одной любви, чтобы братья за перо и писать поэту, и судить о том, о чем дано «судить Гераклу, поднявшему Антея над землей»?

Проблема «суда» над Поэтом настолько сложна и неисповедима, что ответить на этот вопрос почти невозможно. Но предположить, что право на вторжение в мир поэта в какой-то степени обеспечивается началом эмоциональным, а следовательно, и выстраданным, — допустимо. И принимая это предположение за основу, я спешу сложить перед Вами на «белизну бумаги» слова благодарности за Ваш труд, за ясность Вашей мысли и поэтичность формы, ее обрамляющей (и наоборот —

за поэтичность мысли и ясность формы), за удивительную естественность этого причудливого синтеза,



За все! За дождь! За после! За тогда!
За чернокожые двух зрачков чернейших,
за звуки с губ, как косточки черешни,
летающие без всякого труда.

За Лермонтова! За Пушкина! За Цветаеву и Пастернака!
За Галактиона и Тициана! За Гоглу и Симона! За Россию и
Прузию! За Север и Юг! За многое другое...

Пусть не огоршит Вас этот отвлеченный каскад восклицаний, произнесенных почти скороговоркой. За каждым из них кроется большое смысловое, или, точнее, **содержательное** начало Вашей поэзии, которое вбирает в себя бездну увиденного и пережитого, нескончаемость и неисчерпаемость поэтических осмыслений — они, как мне кажется, и порождают **конфликтность действия**, внутреннюю динамику Вашего стиха, объясняют **причинность** и **цели** его возникновения.

Слова о содержательности, конфликтности, причинности и цели выделены мною особо. Смысл их появления в данном контексте явно полемичен. Ведь Вас упрекали именно в бессодержательности, в беспредметности стиха, в отсутствии в нем движения и цели возникновения...

Вместо пространной на этот счет полемики, так и просятся в ответ Ваши же строки:

— Вы думаете? — так она спросила,
Мне кажется, совсем наоборот.

Вам говорят: многоречье! А мне почему-то кажется: сконцентрированность, компактность, собранность речи (и мысли!), значительность, весомость каждого слова. Вам говорят: праздность стиха! А я робко воспринимаю каждую Вашу строку, каждую метафору, как сгусток напряженных поисков и напряженности мысли.

Впрочем, полемика по принципу «мне кажется, совсем наоборот» (ты говоришь «да», я говорю «нет»), разумеется, бездоказательна и попросту не принята. И потому все с тою же читательской робостью позволю себе предпринять попытку рассказать, как понимается мной и содержательность Вашей поэзии, и ее предметность, и цели ее возникновения.

Природа Вашего стиха предполагает удивительные сочетания общих (высоких) и конкретных (сиюминутных) ассоциаций. Общим свойственны и философичность, и житейская мудрость; сиюминутные рождены вспышкой эмоций, непосредственностью и неподдельностью человеческих и поэтических озарений. Два эти ряда не существуют у Вас отдельно, они — не идентичны двум параллельным прямым, которые никогда не пересекутся. Напротив, их **слияние** и создает **единство** Вашего поэтического мира и (как ни верти!) порождает отлитые,

округлые образы любви и ненависти, дружбы и вражды, творчества и антитворчества, сказки и быта! Общѣ? Если брать отвлеченно — да! Но, повторяю, все дело в том, что переживаемые понятия поданы Вами не как нечто отвлеченное, переживаемое вообще, а непременно связаны с какой-то дорогой (или ненавистной) Вам конкретностью и персонифицируются во все то, из чего складывается жизнь, а не ее подобие.

Вы входите в эту жизнь смело и по-хозяйски. Не то чтобы без сомнений и, как бы это сказать, с таким раз и навсегда выясненным отношением ко всему, что творится вокруг. О, нет! Речь не об этом — разве можно обойтись поэту без нерешенных вопросов, без желания что-то выяснить, в чем-то разобраться? Речь — о другом. О другой смелости и другой дерзновенности. Они для меня — в Вашей полной писательской раскрепощенности и бесхитростности, в откровенной и доверительной апелляции к сердцу читателя, в неумении заигрывать с ним, в нежелании казаться тем, кем Вы не есть, быть до «низменности» самой собой — естественной, простой, обычной.

Впрочем, естественность, обычность и простота, пожалуй, не очень вяжутся с присущей Вам манерой письма, с отнюдь не простой, а очень сложной метафоричностью Вашего образного мышления, со строем речи, который иным кажется даже вычурным, неестественным, «барочным», узорчатым...

Но все дело в том, что Вы входите в поэзию такой, какая есть в жизни. С присущей Вам речью, манерой изъясняться, выстраивать мысль, фразу, строку. И как хороший актер, перевоплощаясь в сценический образ, влезая в его плоть и кровь, не перестает оставаться самим собой, не «убивает» в себе свои, единственно ему принадлежащие индивидуальные качества, свою индивидуальность, так и Вы, живая Белла, воплощаясь в поэтическую образность своей поэзии, остаетесь везде самой собой, не убиваете свою плоть, а лишь взываете всякий раз к ней и, всякий раз, возводите ее в ранг особой художественности, которая всегда Ваша, собственная и ни у кого не заимствованная...

Но вернемся к смелости и дерзновенности. Они рождаются не вдруг и непременно выношены Вами. Ведь, раскрывая нараспашку себя и в себе — самое сокровенное, Вы словно выламываетесь из своих же собственных «габаритов», словно отрываете у себя частицу сердца. Да и как не оторвать, когда во всеуслышание пишется о страшных, невообразимо мучительных муках, зовущихся на языке обыденности муками творчества, когда как бы наперекор самой себе («и все-таки о том судить Гераклу...») выносите Вы свою душевную и физическую неблагоустроенность на суд многомиллионного читателя — пусть знают все, пусть знают всё, пусть видят, как нелегко справиться поэту со своим хозяйством, как мучается он немотой в поисках слова, метафоры, эпитета! Только-то и всего?! — спросит неискушенный читатель. А Вы отошлите его к стихотворению «Слово»:

О нет, во мне — то всхлип, то хрип, и, снова
насуцный шум, занявший место слова

там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершишь было не трудно и не лень.

Или к стихотворению «Ночь»:

Уже рассвет темнеет с трех сторон,
а все руке недостает отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Здесь можно было бы вспомнить и другие стихи из этого же цикла собственной неустроенности, в которых Вы настойчиво продолжаете быть откровенной и бесхитростной, а критики также настойчиво продолжают упрекать Вас за изощренно-откровенное стремление сквозь бессонницу и темноту рассвета, немоту и скованность пробиться к своему самовыражению. А Вы, словно желая эпатировать критику, а вместе с ней и публику, идете дальше и объявляете во всеуслышание:

Есть что-то нищее во мне!

Возглас этот звучит как отчаяние, почти навзрыд. И тогда критики тоже идут дальше и пишут о кризисности Вашего творчества, советуют мягко или немягко — не стоит, мол, так уж напрямик выходить на самое себя, заниматься самобичеванием, смаковать собственные физические неполадки — озноб, простуду, грипп и т. д. Среди советовавших есть умудренные опытом и доброжелательно к Вам настроенные. Например, П. Г. Антокольский, который писал в предисловии к Вашей книге «Стихи»: «Раз уж ты вышел на жестокую арену, спрячь свое недомогание куда-нибудь подальше, в ящик стола, держись прямо! Ты отвечаешь за всех, как слугитель бога, имя которого — Русская Поэзия Сегодня!».

Прекрасные слова! Не прислушаться к ним невозможно. Лучше и не скажешь о месте Поэта на земле. Но сквозь бесспорную мудрость этих советов неумолимо пробивается ответный (хоть и менее бесспорный, чем процитированные строки) вопрос: а если слугителю бога нельзя иначе? Если в нем живет, но не может вырваться наружу тот самый «маленький горнист», который почему-то (слугителю неясно почему именно) сложил вдруг свой горн и не трубит как раз теперь, а слугителю не терпится и, тоже как раз теперь, жаждет излить свою радость или горечь? И кому как не поэту знать, что ничего тут не поделаешь — это приходит свыше и неподвластно никакому разложению по полочкам! И как же рад этот поэт-слугитель, как счастлив он, когда вдруг горнист откликнется на зов, и тогда...

И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха и цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложения, —
так требует предмет изображения,
и ты бежишь, как верный пес на свист.



Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: — Спасите! — грянувший в ночи.

Думается, именно в эти минуты (попробуем назвать их минутами оптимистическими и посчитаем, что их у Вас куда больше, чем тех, за которые Вас корили) стремитесь Вы не только сетовать на собственный недуг и немоту, но и утолить свою жажду жить и творить. И сквозь эту жажду пробивается Ваша причастность к земле, ко всему земному, к тому, что присуще человеку, и к тому еще, что ему, человеку, пока неведомо. Вы стремитесь утолить жажду в самом прямом, а не только в переносном смысле — Вас радует каждый глоток испитой влаги, дарованной природой, будь то глоток от «пресной льдинки», от свисающей сосульки или глоток от воды, зачерпнутой в ладонь. Вы готовы петь подобно щеглу и, ему же подобно, окунать в воздух перья. Вы жаждете даже невозможного и надеетесь преуспеть и в этом:

Дай созерцать твой белый свет и в нем
не обнаружить малого пробела,
который я, в усердии моем,
восполнить бы желала и умела.

И если следовать логике Ваших рассуждений, то именно жажда жизни, желание объять и воспеть доступное и недоступное, видеть все это (весь мир!) глазами поэзии, венчают самую суть Вашей неустроенности:

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
все прочее — блаженством я зову.

Амплитуда Ваших чувств поистине необъятна, грани их выражений полярны. Но сходятся они на одной точке опоры, зовущейся творческим поиском поэта. Поиск этот определяет Ваша высокая требовательность к себе, к слову, к строке, к поэзии в целом и постоянная неудовлетворенность содеянным, рожденная, как мне кажется, не столько неверием в собственные силы, сколько стремлением к совершенству. «Способов столько, сколько поэтов, — пишете Вы в своем «Слове», обращенном к читателю, — и покуда я не преуспела в том, чтобы мой показался мне совершенным». Этим «Словом» завершается книга «Сны о Грузии». Вероятно, это закономерно — к иному выводу Вы пока не пришли.

Но закономерно и другое: поиск продолжается, иначе Вы не были бы самой собой:

Не бесполезны наши руки,
и выгоды не сосчитать
затем, что знают наши руки,
как холст и краски сочетать.



И здесь уже звучит не только требовательность, но и уверенность. Вы, Поэт, знаете как сочетать свои изобразительные средства. Но не канонизируете: вот так и только так. Уверенность Ваша определяется сознанием, что необходимо умение, мастерство, подлинное искусство и снова поиск до предела.

Сквозь этот сложный синтез уверенности и неуверенности, жажды поиска и неудовлетворенности его результатами пробивается вечно беспокоящий Вас образ Художника и его модели. Вот наглядный пример соединения общего и конкретного! Вы хотите проникнуть в тайну этого сочетания:

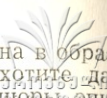
Вершит свой вечный поединок
Художник и его модель.

И выстроена уже концепция! В основе ее — поединок, конфликт. Не обязательно, чтобы действие в этом поединке закончилось антагонизмом борющихся сил, потерпело крах. Может быть и так, может быть и наоборот. Вам не это важно. Вам важно подчеркнуть, что поединок — налицо, а Вы — художник — доискиваетесь до истины, хотите во всем «дойти до самой сути», «схватить» неизвестное, не дающееся на ощупь. И словно бы теперь Вы уже не Вы, не — художник, а как бы его отстраненность. Вы смотрите на мир этого художника «со стороны» и сторонним взглядом наблюдаете за сложностью процесса, в нем происходящего, за тем,

...как
вершит художник тяжкий поиск
и что живет в его зрачках.

Так бывает в театре, точнее, — в брехтовском театре с его принципом «отчуждения», и Вы в этом театре сейчас брехтовский актер, который, не переставая быть творцом, умеет отделить себя от предмета изображения для того, чтобы комментировать сложности в нем и с ним происходящие.

А сложностей, оказывается, хоть отбавляй! И пробиться сквозь них нелегко. Вам это нелегко вдвойне, ибо Вы (как бы не упрекали Вас в изысканности и изощренности!) по природе своей из «школы переживания» и брехтовский прием «отчуждения» — не Ваш прием. Попадая в его «магнитное поле», Вы становитесь менее «защищенной», а следовательно, более «уязвимой», нежели в «своей» стихии. И ощущая подстерегающую опасность, стараетесь, по возможности, поскорее вырваться из этого поля на широкий простор и тут испробовать все возможные и невозможные варианты. В поисках ответа на беспокоящую проблему Вы нащупываете для себя несколько вариантов, не делая акцента ни на одном из них. Вы упиваетесь естественным, жизнью, сюрпризами природы, явившей-



ся Вам во всей своей многоликости. Вот облачается она в образ беспорядочной грозы в небесах, которой Вы, Поэт, хотите даровать свободу. Не желая замыкать свою грозу в джоржетты и ямбов, Вы предпочитаете остаться «немым очевидцем природы» и просто, по-земному, наслаждаться ею. Но оказывается, если Вы истинный поэт, так не бывает. Глядишь, и рука Ваша уже сама скользит по листу бумаги, поспешая «и в любви, в беспокойстве, в тоске все, что есть, описать по порядку».

Да, в минуты истинного художества бывает так. Но бывает и по-другому — разве можно предугадать все возможные варианты творческих озарений художника! Вы пишете:

Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.

И далее:

Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это —
в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх и доблесть, —
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск?

Но в поединке между художником и его моделью и этот вариант представляется Вам не окончательным.

Вам надобен еще один «толчок» для полноты ответа на беспокоящий Вас вопрос, для еще одного поэтического конфликта:

Испуганных художников толпа
на цвет земли смотрела воровато.
Толпилась, вытирала пот со лба,
кричала, что она не виновата:

она не затевала кутерьму,
и эти краски красные пролиты
не ей — и в доказательство тому
казала свои бедные палитры.

Так, неожиданно, под крутым, в сто восемьдесят градусов, углом вдруг резко меняется плавное течение Ваших поэтических рассуждений, и конфликт между полюсами, между художником и жизнью оборачивается неожиданным и убийственным для художника выраженьем. Усложненность Ваших мыслительных образований настолько необычна, что это почти не но-поэтски. Так и кажется, что за всем этим в пору последовать Вашим теоретическим экскурсам и окунуть Вас в дебри научности...

Но это только кажется, ибо представления Ваши о сложностях на подступах к художественной гармонии и завершен-

ности формы отнюдь не угрожают Вам потерей взятого курса. А курс этот на линии все той же «школы переживания», нет на свете такого счетовода, который помог бы Вам подсчитать все Ваши «за» и «против» и скрупулезно разложить их по существующим правилам «ведения». А «школа переживания», которая хоть и **школа**, а потому не подразумевает лишь стихийного нагромождения эмоций, тем не менее и не предполагает их строгой сдержанности и ограниченности в рамках определенных понятий, в рамках послушной канонности.

Мы говорили выше о грозе. Неудивительно, что размашистость и вольность Ваших неожиданных ассоциативных всплесков великолепно обнаруживается в содружестве с образами природы. Это естественно — принадлежность поэта своему народу, точнее, его национальное своеобразие во многом измеряется его отношением к родной природе.

Ощущение природы, как «сообщника» любви и творчества, как предмета, способствующего рождению обильных поэтических голосов — все время с Вами. Но природа у Вас не просто присутствует — она **участвует** в жизненной кутерьме, затеянной вокруг Вас, возникая в самых различных обликах (снегопад, дождь, гроза, метель, звезды, луг зеленый и т. д.), верховодит Вашими чувствами, то подчиняя их себе, то, напротив, вызывая в Вас ощущения независимости и свободы:

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? — Неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далекий мельк огня.

И далее:

Но темнотой испуганный рассудок
резвует, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Округлость темы венчают Ваши стихи о каждом из времен года. С чинной повинностью служите Вы календарю, но это не превращает Ваши описания в скучную «географическую справку». Дань Ваша временам года рождена всеисчерывающей «растворяемостью» Вашей лирической героини в дарах природы, которую Вы ощущаете «кожей». И в каждом из стихотворений этого цикла встает неповторимый образ естества, воплощенный то в апрельскую оттепель, выручающую «реки из оков», то в августовскую ночь, щедро расточающую звезды, то в оранжевый сентябрь, «охваченный желанием даренья», то в бесснежный февраль, жаждущий, как подаяния, снега... И всякий раз эта метафорическая причудливость вновь и вновь соединяет в себе всеобщие (высокие) и конкретные (сиюминутные) ощущения о прекрасном, о жизни, о мироздании.

В мироздании этом меж бездной и бездной действительно, как Вы говорите, дует сквозняк, задувая то одну, то другую свечу. Образ свечи проходит через все Ваше творчество.

В том равновесье меж добром и злом
был он повинен. И Земля летела
неосторожно, как она хотела,
пока свеча горела над столом.

Свеча светит Вам своим спасительным светом и «в золотом Свети-Цховели», и на новогодней елке, и тогда, когда в памяти оживает «старомодность вековая», и в унылом затишье быта, и в ночных бдениях. Свет свечи оборачивается всякий раз символом неугасимого художнического поиска и беспокоит Вас тем трепетным беспокойством, удел которого не потухать и светить повсюду, пробиваясь сквозь град, и снег, и непогоду, навстречу творчеству, навстречу сказке, навстречу волшебству.

А поэзии Вашей свойственны и сказочность, и волшебство, и фантастическое осмысление быта, реального мира. Ваша поэзия обладает «взлетной» способностью, и в этих взлетах Вы делаете такие угловатые и смелые выражи, что кажется порой — не выдержите.

Но Вы выдерживаете, и, несмотря на витиеватые «мертвые петли», на головокружительные неожиданные ракурсы движения, убеждаете в возможности самого невероятного.

Этот прием ошеломляющих неожиданностей (мы с ним уже столкнулись в обсуждении проблемы «художник и его модель») — Ваш прием. Вы пользуетесь им всегда, когда хотите вызвать в читателе потрясение тем, чем потрясены уже сами, и потому это потрясение не ради эффекта, а как логическое выражение Ваших эмоций, как утверждение гиперболичности их сути или, точнее, причинности их возникновения. В такие минуты — хотите Вы того или нет — происходит естественный процесс оплодотворения Вашего художественного восприятия мира самой грандиозностью сущности того, что Вы увидели. И тогда увиденное возводится в степень такой же грандиозной (порой неправдоподобной) метафорической образности, которая только и в состоянии передать самое понятие чуда.

Из ранга чудес, например, вот эти строки:

Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к черту! Пусть
им захлебнусь, как Петербург Невою.

Размах от пульса до Невы — это неожиданно, круто, дерзко. И убедительно в своей неожиданности. Игра в неожиданности и укрупненности, однако, не заносит Вас исключительно в сферы «заоблачные», а потому словно бы отвлеченные. Переплетение общего и конкретного и тут светит всеми своими бликами. Примеры? Да хотя бы стихотворение «Ада». Читая его, я не могу заставить себя не думать о том, а кто же эта

Ада? Откуда она взялась и почему так тревожит Вас даже эхо ее имени, и при чем тут «летающие облака» и повисшие в них, навстречу друг другу протянутые человеческие руки? Согласитесь, что так дотошно неприятно рассуждать

о поэзии — поэзия не терпит подобного «расследования». И все-таки достоверность образа героини Вашего стихотворения очевидна, ибо, несмотря на фантазмагоричность, в стихотворном тексте вырисовывается внутренняя конфликтность, драматизм создавшегося положения, в которое вовлечены и Вы, или, точнее, Ваша лирическая героиня. А сюжет, который пусть даже являет собой «поволоку смысла» или свою видимость (а в поэзии это допустимо!), тем не менее рождает к себе повышенный читательский интерес.

Таких примеров сочетания фантазмагории и дразнящей, но не дающейся в руки «конкретности» у Вас немало. Да это почти везде! «Сказка о дожде» целиком построена на этом! Сквозь сказочный флёр дождя, сквозь поэтическую придумку определяется четко выстроенный сюжет (а не его поволока) со всеми житейскими подробностями того быта, который Вы не приемлете и против которого восстаете.

Помнится, критики требовали от Вас побольше «грубой жизни, быта и обихода, которого в избытке у многих поэтов и который отнюдь не делает их стихи менее духовными»¹. Но спрашивается, что понимать под грубостью жизни? Разве «Сказка о дожде» не свидетельствует о том, что в этой жизни есть с чем бороться? Разве не ощущается здесь широта охвата времени, его дыхание? Разве не символично само понятие Дождя, сметающего на своем пути нечисть и грубость, уродующие жизнь? Разве, наконец, не выглядит Ваш неправдоподобно-сказочный дождь все той же, Вами созданной гиперболой, неожиданной, необычной укрупненностью?

Но все эти неожиданности и укрупненности не замыкаются у Вас сферой неодушевленного мира. Вооружившись шпагой, привнесите Вы свои приемы игры, а вместе с ними чудесное волшебство гипербол и в мир конкретных личностей. Из этой серии чудес Ваше «Приключение в антикварном магазине», «Дачный роман», «Главы из поэмы», «Тоска по Лермонтову» — всего не перечить! Волшебство игры тем сильнее, чем круче повороты Ваших видений, чем отважнее Ваша решимость и сознание гордости за достоинства тех, кого Вы любите до самозабвения.

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Все в миг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.
Повеяло паленым и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.

¹ «Литературное обозрение». 1976, № 7, с. 61.

Это — о Пушкине. А вот о Лермонтове:



Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зрением, не отдам,
и ты спасен уже, и вечно это.

Еще одна встреча с грандиозностью и еще одно поэтическое его осмысление — это о Пастернаке:

Когда же им оставленный пробел
возник меж миром, около восхода,
толчком заторможенная природа
переместила тяжесть наших тел.

Вы понимаете, что всякое подобное определение поэтического образа реального человека стоит за пределами доступного и возможного, и все-таки устремляетесь смело навстречу этой предельности. Но как всякое преувеличение, созданное здоровым воображением художника, его фантастической вздорностью, рожденной чувством реального, оно ооретает удивительную силу убедительности, властно входит в наш читательский мир, само обретая право на вечность.

И тут невольно рождается мысль о силе и мужественности Вашей поэзии. В мужестве всегда есть вызов, порыв, устремленность. Вот так и кажется, что вышли Вы со шпагой в руке, этакий рыцарь-смельчак и с юношеским запалом, с закинутой головой, с горящим взором готовы ринуться в бой и протрубить миру о своей любви к ближнему, о готовности вступить за него, взять себе «всем зрением», сберечь, спасти от нечести, не дать в обиду, поднять, если надо.

Под покровительство Вашей любви и нежности попадает и Марина Цветаева, которую Вы считаете своей духовной предшественницей. Не тон сочувствия, не жалость, не слезливость сквозят в обильной нежности Ваших слов, а скорее потрясение, укоризна, боль. И встает перед нами прекрасный и трагический образ сильной духом женщины:

Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
он все же был лишь захолустьем крыш,
провинцией ее державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойденным бедствием столицы,
где рыщет Марс над плеснею воды,
тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страданья,
где так она ница и голодна,
как в высшем средоточье мирозданья.



Вы неизменны в своих привязанностях, в нежности и заботе по отношению к тем, кто проходит через предел Вашей любви. Вы можете «нижайше дивиться» успехам друзей, смотреть на них сквозь добрые слезы, оберегать их от беды:

Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.

И финальная строфа:

Все остальное ждет нас впереди,
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, бог не приведи!

И наконец, еще об одной Вашей привязанности — о Грузии. Как говорится, «здесь ни убавить, ни прибавить», и Ваша грузинская тема покорила оформленностью чувств, безграничной преданностью Вашей стране, ее народу.

Но поздно! Уж отпит глоток
и вечен хмель, и видит бог,
что сон мой о тебе — глубок,
как Алазанская долина.

И уже не во сне, а наяву, осознав свою, пожалуй, самую большую в жизни радость, восклицаете Вы:

Сны о Грузии — вот радость!

Сны о Грузии — они все время с Вами, и, как это всегда бывает во сне, неуправляемая, сомнамбулическая неправдоподобность в конце концов оборачивается разумностью восприятия мира, мироздания, человечества, воплотившихся для Вас в странное имя — Сакартвело:

Помню — как вижу, зрачки затемню,
веками вижу: о, как загорело
все, что растет, и, как песнь затыну
имя земли и любви: Сакартвело.

И далее:

Только во сне — велика и чиста,
словно снега, разрастаюсь и рею,
сколько хочу, услаждаю уста
речью грузинской, грузинскою речью...

Грузия вошла в Ваш поэтический мир, как боль и радость, как самое сокровенное в жизни.

Когда-то, произнося в Большом театре свое слово на юбилее М. Ю. Лермонтова, критик Бесо Жгенти сформулировал одно из своих представлений о нем: в истории мировой литературы, говорил он, едва ли можно найти другой

пример такого широкого вторжения в творческий мир поэта тематики, жизни и быта другой нации, как у Лермонтова. Лучшие его произведения созданы на грузинском материале.

Мне понадобилась эта мысль грузинского критика для того, чтобы заметить: в истории мировой литературы возник второй пример такого вторжения. И еще добавлю: оно совершено Вами рука об руку с великим поэтом. Образ Лермонтова слился в Вашем творчестве с Грузией, с Вашей и ней любовью. Стихотворение «Тоска по Лермонтову» в этом смысле особенно знаменательно. Оно слагалось Вами в Грузии, и именно ее ореолом пронизаны Ваши печали и Ваши надежды:

О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

И странное, несовместимое сплетение печали и надежды, тоски и веры помогает Вам найти в себе силы взывать к своему великому предшественнику и почти приказывать ему: «Стой на горе!».

Так уже повелось, у всех, кто когда-либо взбирался на эту самую гору, туда, где стоял «высочайший юноша вселенной», ассоциативно всплывало в памяти знаменитое:

Там, где сливаясь шумят,
Обнявшись будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры...

А теперь рядом с этими строками бессмертия лермонтовского духа неумолимо звучат Ваши строки:

О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Вот так, естественно и просто, соединяется лермонтовское и ахмадулинское, логически обосновавшись «под солнцем возле Мцхета» и, подтверждая не только приведенную выше мысль критика о вторжении в творческий мир поэта жизни и быта другой нации, но и о вторжении самого поэта в ее жизнь и быт.

Вашу грузинскую боль, Ваши сны о Грузии олицетворяют и Ваши переводы грузинских поэтов. Часто спорят — точны они или нет. Вы сами прекрасно отвечаете на этот вопрос, чистосердечно признаваясь, что никогда не старались соблюдать внешние приметы стихотворения-оригинала, что главным для Вас было желание оставить «неприкосновенными весь внутренний мир поэта, лад его мышления и существенные конкретные детали поэтического материала».

Мне не хочется здесь (да и место не позволяет) подробно разбирать все «точности» и «неточности» Ваших переводов.

...все плакал я, как старый Лир,
как бедный Лир, как Лир прекрасный.

46
1959
1110333

Помню, как однажды с беспощадностью обрушился на Вас один оппонент за «бедного» Лира. Почему Лир **бедный**?! — возмущенно кликал он в негодовании. Этого слова нет у Галактиона! А Вы почтительно отвечали ему благодарностью за его нетерпимость к Вашей «неточности» и, защищая всей грудью — не себя, нет — Галактиона, говорили: «Я хочу, чтобы русский читатель поверил мне на слово, что Галактион — великий поэт. Если бы для этого мне нужно было бы танцевать, я бы танцевала».

Танцуйте, Белла! Пойте, Белла! Но только сохраните тайну первоначального звучания в Ваших переводческих шедеврах, несите великому русскому народу-читателю сокровища грузинской поэтической мысли! Совершенствуйте свой божественный подвиг — гражданский и художнический. Грузия, ее народ всегда Вам будут благодарны за все прекрасные Ваши усилия на этом поприще.

Но дело не только в переводах, а в том, что, соприкасаясь с оригиналом, Вы впитываете его в себя, он становится неотъемлемой частью Вас самой. Вы воплощаетесь в сущность переводимого оригинала, а затем уже не в силах оторвать себя от него — и вечно это!

Это настолько вечно, что порой можно говорить о некотором породнении Вашем с теми, кого Вы переводите. Но это уже, как говорится, другая тема...

А теперь о Вашей прозе. Она тоже связана с Грузией. Свое отношение к Грузии Вы выразили в первых же своих прозаических строках: «Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне».

Но видеть во сне, так же, впрочем, как и наяву, еще не значит видеть. Видение художника — это не только способность вылепить из тысячи сведений и фактов тот единственный и неповторимый образ, который должен быть обобщен как образ художественный, но умение угадать и увидеть то, что поддается лепке.

Ваша проза полна таких угадок. Вы увидели Грузию со всеми ее отличительными приметам, почувствовали ее атмосферу, ее краски, ее радости и боли. Узнали людей, их обычаи, нравы, повадки. Услышали музыку речи, ее интонационную напевность. Необыкновенно точно «вырвали» Вы из тысячи грузин того самого Старика-крестьянина, который на вопрос прохожих путников, куда им следует идти, ответил: «Сюда» и пригласил их в свой дом.

О, тон гостеприимного азарта,
что ведом лишь грузинам, как ему, —

писали Вы о Пастернаке, имея, очевидно, в виду такого вот грузина.

Проза Ваша похожа на поэзию. Это не парадокс. Если существуют стихи в прозе, то, вероятно, и проза может быть написана стихами. Что я имею в виду? Разумеется, не рифмованность прозаических строк, а поэтическую выстроенность фраз, не изощренность их, а обильную гибкость поэтических метафор, чеканную округлость повествования, а главное — эмоциональ-

ность изложения и все ту же «взлетность» стиля, который под стать лишь поэзии. Как «рифмованно» пишете Вы о Пушкине! Как по-поэтически ощущаете его присутствие в том самом парке, где ходил он «целый и невредимый», встретившись к лицу, пожалуй, главное чудное мгновение своей жизни. Вы идете по пятам памяти поэта, по протоптанной им дорожке, «выслеживаете» его дыхание, ловите своими глазами энергию его взгляда, ищете встречи с ним, неуловимым, доводя, не знаю каким богом данным даром, его присутствие до осязаемости.

Пушкин, Лермонтов, Пастернак, поэты Грузии, сама Грузия — вот сфера Ваших прозаических тем. И даже там, где Вы вступаете на стезю теоретических объяснений (проблема стихосложения, проблема перевода, проблема писателя и читателя и т. д.), и там укладываетесь Вы, прозаик, в определенность темы, пусть небольшого, но законченного, отточенного по ясности мысли и формы, сюжета.

Сейчас я сделаю один неосторожный шаг «в сторону» и скажу вот что: по своей прозрачности, чистоте, сжатости, конкретности и компактности проза Ваша ассоциируется у меня с лермонтовской прозой. Не потому, разумеется, что большая часть ее связана с Лермонтовым, а потому вероятно, что живет в этой прозе «лермонтовско-кавказский» дух, «короткая боль искомого запаха» Кавказа, кавказских гор, кавказской природы, дух лермонтовской свободы, его полета, его мечты.

Да, Белла, сквозняк в мироздании не может задуть свечу прекрасного. Она горит и вечно будет гореть, освещая нам путь во времени.

Мы все во времени живем
И слышим: к нам зовет время.

Этими Вашими словами я и хочу закончить свое необычно длинное письмо, пожелав Вам всего самого доброго в жизни ч в поэзии. А ведь она, поэзия, и есть Ваша жизнь.

СОНЕТЫ

ШЕКСПИРА

ПО-ГРУЗИНСКИ

Ни один из гениальных писателей нового времени не был столь близок грузинскому народу по духу своего творчества, как Шекспир. И если грузинская версия «Висрамиани» считается органической частью нашей литературы эпохи расцвета, то безусловно столь же неотделимыми от грузинской литературы XIX века были и переведенные Иваном Мачабели трагедии Шекспира.

Однако, несмотря на столь большое внимание и живой интерес к творчеству великого британца, его сонеты впервые были переведены на грузинский язык лишь в тридцатые годы нашего столетия. В 1952 году отдельной книгой вышли переводы всех 154 сонетов Шекспира, выполненные Гиви Гачечиладзе. Сейчас многолетний труд по их переводу завершил Резо Табукашвили.

Хорошо помню октябрьский вечер 1948 года, когда Резо Табукашвили читал в переполненном зале Союза писателей Грузии свои шекспировские переводы. На чтении присутствовали многие известные грузинские писатели и поэты — Геронтий Кикодзе, Константин Гамсахурдиа, Галактион Табидзе.. Пришедший с опозданием Галактион до самого окончания вечера стоял у открытых дверей зала, внимательно слушая юного поэта, выразительно читавшего свои переводы.

В 1965 году Резо Табукашвили опубликовал 100 сонетов Шекспира. Это свидетельствовало о серьезном намерении и целеустремленности переводчика.

«Этот перевод, — писал в предисловии к сборнику известный грузинский шекспировед Нико Квасашвили, — явился новым грузинским прочтением, еще одной грузинской поэтической интерпретацией лирики Шекспира.. Он представляет собой единый цикл сонетов, читающихся в переводе естественно и без ощущения чужеродства, пронизанный единым поэтическим настроением, единой стилистической манерой».

Естественно, «новое прочтение» невозможно без досконального изучения столь сложного поэтического явления, как сонеты Шекспира. Однако достоинство перевода определяется не одним только «прочтением», но и «воплощением» — тем, насколько полно, художественно и органично, с какой экспрес-

сией и поэтичностью перенесен оригинал в новую языковую систему. При этом переводчик сталкивается с непреодолимыми препятствиями, порожденными не только и не столько звуковыми знаковыми различиями между языками, но и разницей мировосприятия, «видения мира», содержащих целый комплекс языковых и стилистических иерархий. Уже поэтому любой текст, «перенесенный» из одного языка в другой, неизбежно меняет свою окраску. Ясно, что коэффициент подобных видоизменений наиболее велик при литературном, особенно поэтическом, переводе. Причина этого в присущем поэзии и недоступном для перевода «языке - иероглифе», неповторимость которого еще более усугубляется индивидуальным «языком» или стилем того или иного творца.

Переводчик должен преодолеть все эти «непреодолимые» барьеры, не нарушая цельности и единства художественной структуры оригинала. Более того, перевод должен быть отмечен неповторимой метой самого поэта-переводчика, иначе весь его труд теряет всякий смысл.

Для этого переводчик должен быть сам поэтом, творцом. Только творческая искра, поэтический дар способны передать иноязычным читателям подлинное величие и очарование переводимого автора. Именно поэтому в искусстве перевода, как и в любом другом виде творческого труда, огромное значение имеет элемент субъективности. Отсутствием его

и объясняется то, что многие величайшие лирики мира в грузинских переводах выглядят лишь бледными теньями прекрасных оригиналов (это касается как поэтичности содержания, так и версификационного мастерства).

Именно в этом смысле при работе с оригиналом «подчиняется переводчик собственной системе речи и тому множеству тайных обстоятельств, половину которых сам он не в силах осознать» (Пастернак). Эти неосознанные «тайные обстоятельства» и составляют истинную поэтическую ценность каждого перевода.

Главное достоинство переводов Резо Табукашвили — в поэтической и эмоциональной насыщенности, в свободе и естественности слова и поэтической фразы.

Как переводчик подбирает единственно нужное слово и насколько оправдан этот выбор?

Возьмем, к примеру, 45-й сонет, в котором, по мнению исследователей, с особой силой выявлен ренессансный характер мировоззрения Шекспира (Томас Элиот определяет его, как эмоциональный эквивалент философской системы в творчестве поэта). В нем варьируются четыре составных элемента человеческой плоти, о которых грузинский писатель XVIII века Сулхан-Саба Орбелиани писал: «Их, этих членов, четыре: земля, вода, воздух и огонь, потому как каждое тело от них становится неколебимым...» О них же идет речь и в «Витязе в тигровой

Джемал ДАВЛИАНИДЗЕ

В КРАЮ, ГДЕ ТОЛЬКО РОМАНТИКИ...

Ногайская степь... Безбрежная степь, обитель ветров. Соленая земля. Царство отступившей когда-то воды. На первый взгляд — безводная, истощенная, безжизненная суша, но прикни к ней душой, присмотрись, и убедишься, что и здесь горит огонь той же жизни, как и всюду на нашей огромной планете.

Человек, не поживши здесь, не сможет понять, что степь — не пустыня, что она пристанище не только лишь шальных ветров, влекущих за собой тяжелые хвосты поземок, песчаных вихрей, скорпионов, выжженной травы и мертвящей безжизненности.

Одна из важнейших заповедей древней восточной философии гласит: «если хочешь познать мудрость, будь безмолвен; наверное, нет ничего легче в этом мире». Достаточно нескольких месяцев, чтобы тишина и безмолвие безбрежных равнинных степей поведали о многом, проникли в твою плоть и кровь, завлекли, обворожили, пленили и извлекли бы из путаного узла дум и мыслей именно те, сокровенные и глубоко упрятанные, которые, возможно, сами по себе никогда бы и не проснулись...

Трудно объяснить, что заставляет человека стать чабаном. Кто эти люди? Ищущие уединения чудаки? Или как любят сейчас говорить — некоммуникабельные личности с трудным и неуживчивым характером? Или одолеваемые необъяснимым устремлением в неведомые дали романтики (ушел ведь в степь урставелевский Тариэл)? Нельзя не учитывать и существующие в семьях традиции, и любовь к животным...

Можно перечислить еще множество причин, но ни одна из них не будет истинной...

И в самом деле... Знойное пекло, горячие ветры, ураганы, мошкара и комары, от которых никуда не спрятаться, песчаные реки, гонимые ветрами, пыль, безводье, отсутствие зелени, оторванность от семьи — в течение почти девяти месяцев оставленные жены, дети, внуки, друзья, дом, соседи, беды и радости, свадьбы, дни рождения, праздники.

И все же, главная причина — это сами Ногайские степи, подвластные только матери-природе и грузинским чабанам, которые там живут, трудятся, думают, мечтают, волнуются, радуются...


Нужно только раз побывать здесь во время окота, хотя бы однажды увидеть огрубевшие мужественные крестьянские руки чабана, держащие как олицетворение чистоты и непорочности белого новорожденного ягненка, достаточно один раз увидеть, с какой нежностью мужчина склоняется и приговаривает над ним, как выхаживает эту новоявленную жизнь, чтобы хоть частично проникнуть в ту неразгаданную тайну, которая уводит человека к овцам.

Говорят ведь: часто выставлять красоту напоказ — все равно что обесцвечивать ее... Много красивых слов было сказано и написано об овечьих отарах и чабанах, многое было показано воспето... У нас в Грузии уже привыкли к этим восторгам, кое у кого это даже вызывает раздражение: сколько же можно?! Но истина раскрывается только через упорное, пристальное проникновение, только при достижении определенного рубежа, на котором, как в фокусе, концентрируется мысль. Так в детстве, играя с увеличительным стеклом, мы мучительно собирали в нем солнечные лучи и, уловив их, наконец, в одной точке, поджигали промокашку.

В степи мне приходилось слушать изумительную песнь одинокого чабана и замирать в необъяснимом мучительном восторге. В этой песне, казалось, звучали все звуки, какие только существуют в необъятном звуковом мире, но кто объяснит, какие чувства породили ее, эту песню, будто вырвали из глубины души, из самого сердца?

Октябрь 1977 года. Отары овец, движущихся из Грузии, в пути настиг снег. Дороги на Крестовом перевале и в Дарьяльском ущелье стали совсем узкими и вовсе исчезли. Прорезая побелевшие склоны гор и теснины, будто желтая река течет нескончаемый поток овец. Их жалобное блеяние тонет в голосах скулящих собак, фыркание лошадей, свистках и окриках чабанов, гудках автомобилей, следующих на север.

Стемнело. Дорога закрылась. Чабаны машут руками и палками, кричат, погоняют овец, еще больше теснят и без того плотно сбитую отару — пытаются пропустить скопившиеся автомашины. Автомобильные фары освещают их лица, на которых отчаяние и страдание от беспомощности их «подопечных» — овцы измучены вконец. На помощь пастухам приходят двое мужчин, одетых в тулупы, и женщина, вылезшая из «колхозника». Они тоже что-то кричат и руками делают знаки водителям — остановитесь!



Высокий, атлетического сложения мужчина преградил путь колонне автомашин, ухватившись за первую машину. Это Григол Ониани, председатель объединения по управлению Кизлярских зимними пастбищами. Он отнюдь не старожил в Ногайских степях и живет здесь всего несколько лет. Но с его приездом сюда связывают немало добрых дел — начато строительство грузинского поселка «Иверия», где уже возведены административный корпус и здание узла связи, два двенадцати-квартирных жилых дома, оснащенный современным оборудованием мясоперерабатывающий комбинат, гостиница на 32 человека, центры торгового и бытового обслуживания, баня, рабочая столовая, финские дома для специалистов. Кроме того, на стоянках для пастухов горят газовые плиты, развернулись большие работы по электрификации этих чабанских обиталищ, установлена телефонная связь между стоянками всех пяти районов. Работает одна передвижная библиотека, продуктовые автолавки. Впервые в истории Кизлярских пастбищ овцы получили силос и сенаж, заготовленные за счет местных ресурсов, создан рецепт нового сочного корма «саломонажа». На самом трудном участке Кизлярских зимних пастбищ — на Бирюзакском массиве идет строительство оросительных каналов, которые напоят жаждущую землю, где пойдут в рост травы. Таким образом, отпадет необходимость отправлять сюда грубые корма из нашей республики. Созданы объединения по кормодобыванию, которые заготавливают корма не только на месте, но и в других районах Северного Кавказа. Построена оздоровительная стоянка для хилых овец, откуда они уже, как говорится, «в добром здравии» переводятся на откорм, и этим избегаются большие потери. В самое короткое время неузнаваемо изменились зимние Кизлярские пастбища.

Григол Ониани громко объясняется с водителем — что поделаешь, человек торопится. Холодно... Он подбадривает шофера. Натужно гудящая машина трудно взбирается на подъем. Его спутник — тоже высокий, спортивного типа молодой мужчина в бараньем тулупе, помогает ему подталкивать машину на подъеме. Так же, как и в степях, оба — рядом, плечом к плечу — председатель объединения по управлению Кизлярскими зимними пастбищами Григол Ониани и секретарь партийного комитета этого же объединения Рамаз Абашидзе.

Его жена — Дали Абашидзе уже более года вместе с мужем и двумя детьми — Экой и Гогитой живет на Кизлярских зимних пастбищах. Сейчас она тоже идет впереди машины с детским пальто в руках и теснит отару. На заднем сиденье «колхозника» съезились закутанные в одеяло их дети, со страхом и любопытством наблюдающие за матерью.

Казалось бы, что за счастье женщине, родившейся и выросшей в Тбилиси, оказаться среди бескрайних степей с выжженной травой и ветрами, тянущими за собой песчаные хвосты, сплошными дождями, бурями, пылью, мошкаррой, комарами, зноем и такой противной и столь драгоценной здесь питьевой водой.

Падает снег... Метель усиливается.

Григол Ониани продолжает удерживать водителей. Вдур
Рамаз Абашидзе срывается с места, высаживает водителя впе-
реди идущего грузовика, сам садится за руль, разворачивает
машину, перегораживая дорогу, захлопывает дверцу и прячет
ключи в карман.

«Вы должны дать нам три часа, пока овцы не минуют по-
ворот», — заявил Григол Ониани и без того измученным пут-
никам. Все водители поняли — ничего не выйдет, погасили фа-
ры, заглушили сигналы и засекли время.

Поселок Кочубей — одна центральная улица, несколько
переулков, сложенные из кизяка дома, несколько двухэтажных
строений, небольшой базар, несколько столовых, школа...

Туманное утро.

Улицы белые от раннего снега.. Идут, поеживаясь от мо-
роза, люди...

Мать и сын — Дали и Гогита идут в школу вместе. Мол-
ча вышагивают по скучной улице, где нет витрин кондитер-
ских или игрушечных магазинов, нет даже машин, а только
однообразные пыльные строения...

Гогита идет в класс. Дали — в ожидании звонка — в
учительскую. Затем она проведет урок немецкого языка с да-
гестанскими, русскими, азербайджанскими, грузинскими ребя-
тами.

Вечером вся семья Абашидзе в сборе. Рамаз читает, Го-
гита возится с ружьем и дедовским кинжалом, Эка учит уроки,
Дали суетится на кухне, накрывает на стол. Потом, устало
опускаясь на стул, выговаривает: на Новый год поедем в Тби-
лиси.

И так каждый день.

В заснеженной степи мечется ветер, рассыпая ледяные
колючки, вырывая с корнем травы, скатывает их в комья и
мотает в бескрайних просторах, несет по степи к берегам Кас-
пия.

Глухая декабрьская полночь.

На перекрестке дорог, ведущих в Астрахань и Ставрополь,
стоит дом со светящимися окнами. В камине горят березовые
пни. Стену над камином украшают два рога и рисунки с изо-
бражением символов, дорогих для каждого грузинского серд-
ца, — виноградная лоза, стены древних крепостей, грузинская
песня...

У камина за низеньким столиком сидит Григол Они-
ани, перебирает бумаги, пишет. Здесь деловые расчеты и вы-
кладки, документы... В них все — прошлое, настоящее и
будущее Кизлярских зимних пастбищ. И еще люди... Поистине
странные люди — то ли чудаки, то ли романтики... Шалва
Сарджвеладзе — начальник управления эксплуатации водного
хозяйства, Анзор Дзедбисашвили — директор объединения по

кормодобыванию, Джемал Кобаидзе — заместитель председателя объединения по управлению Кизлярскими зимними пастбищами, Тамаз Якобашвили — начальник Кочубейского строительного участка специализированного треста механизации, Темур Ткемаладзе — главный механик объединения. Александр Кравчук — главный экономист объединения, Зура Шенгелия — секретарь комсомольского комитета объединения, Гиго Бадашвили — главный зоотехник, Василий Кавтарадзе — овцевод Ананурского овцеводческого совхоза, Важа Чопикашвили — директор Кочубейской спецрозницы Центросоюза, Василий Бурдули — бригадир овцеводческого совхоза Душетского района...

Кизлярские зимние пастбища, развернутое там строительство, труженики этих мест — объект пристального внимания руководства нашей республики. Здесь побывали руководители республики, осмотревшие все объекты работы в степях, ознакомились с жизнью чабанов, выслушали их. В Кочубее, в здании объединения по управлению Кизлярскими зимними пастбищами состоялось совещание... Это была не обычная кабинетная процедура, а откровенный, деловой, принципиальный разговор о том, как улучшить положение, преодолеть отставание. Это был разговор, все участники которого равны, все несут ответственность за порученное дело, и среди них нет начальников и подчиненных, слово и мнение каждого — это серьезное деловое соображение.

В Ногайские степи пришел Новый год.

Ледяной зимний ветер крутит снежные вихри... Чабан, похожий на Деда Мороза, с новогодними хурджунами ищет разбросанных по степи соотечественников, чтобы поздравить их с Новым годом, пожелать добра. Звучат здравицы в честь тех, кто в степи.

Чабаны сидят у костров, и в мелькающих языках пламени каждому видится свой дом, чистый и прибранный к новогодней полночи, за накрытым столом — вся семья...

Полночь — пальба из ружей, лай собак. Самый старший в семье встанет и осушит стакан вина, благословляя хозяина дома, бабушка раздаст всем гозинаки, и, ощутив знакомую сладость во рту, все будут говорить о том, что весь год должен быть таким же сладким. Гнутся в небо искры от догорающих костров, несется над степью низкий колокольный гул: мравалжамьер, мравалжамьер...

А поздней весной, когда вы прочтете в газете традиционное сообщение о том, как успешно прошла зимовка овец на Кизлярских зимних пастбищах, как чабаны сумели обеспечить заботливый уход за скотом, в результате чего получен обильный приплод, и настрижено большое количество шерсти — постарайтесь представить себе, что кроется за этими скупыми строчками. И вам непременно захочется сказать: да будет слава вовеки твой неопределимый труд, чабан!

Весна. Отары-овец покидают Ногайские степи — свои зимние пастбища и возвращаются в родные горы.

«СТИХОТВОРЕНИЯ»

В ПОЭТИЧЕСКИЙ сборник Галактиона Табидзе, жизнью которого, по словам автора предисловия и составителя Г. Маргвелашвили, «стали родина и революция в их нерасторжимой слитности с поэзией», преимущественно вошли стихи советского периода и наиболее значительные из дореволюционных. Расположены они в хронологическом порядке: первое датировано 1908, последнее — 1956 годом. Между ними пролегли почти полвека жизни и творчества великого грузинского поэта XX века, названного Н. Тихоновым «целой эпохой новой грузинской поэзии». В сборнике, выпущенном недавно издательством «Художественная литература» в серии «Библиотека советской поэзии», поэзия Галактиона представлена в переводе многих лучших русских поэтов, среди которых читатель найдет имена Н. Заболоцкого, П. Антокольского, Н. Тихонова, К. Симонова, А. Межирова, Б. Ахмадулиной, В. Леонovichа, Ю. Ряшенцева, М. Синельникова и других.

ДВУХТОМНИК И. ЧАВЧАВАДЗЕ

ЮБИЛЕЙНОЕ издание, выпущенное издательством «Мерани» на русском языке к 140-летию со дня рождения великого грузинского поэта, писателя и общественного деятеля, познакомит русского читателя с его избранной поэзией и прозой.

В первый том вошла поэзия И. Чавчавадзе в переводах Я. Козловского, Е. Евтушенко, М. Талова, В. Шефнера, А. Тарковского, В. Рождественского, К. Липскеровой, В. Державина. Некоторые из них впервые выступают в качестве переводчиков поэтического наследия этого классика грузинской литературы.

Весь второй том — проза, полностью представленная в новых переводах Ю. Давыдова, М. Бирюковой, Г. Хуцишвили.

Двухтомник снабжен предисловием Н. Думбадзе и послесловием Г. Джигладзе.

ДВУХТОМНИК Н. ТИХОНОВА

ПЕРВЫЙ том этого издания составлен из стихотворений о Грузии одного из старейшин русской советской поэзии, большого друга на-

шей республики Николая Семеновича Тихонова и его переводов из грузинской поэзии.

Второй том знакомит с его многочисленными очерками. Двухтомник выпущен в этом году издательством «Мерани» на русском языке.

«ВСТРЕЧИ С ГРУЗИЕЙ»

НАСТОЯЩАЯ книга, — как говорит в вводной части ее автор Валентина Балуашвили, — раскрывает лишь отдельные стороны глубинного процесса литературного взаимообогащения на примере встреч с Грузией некоторых русских писателей старшего поколения, в частности С. Есенина, Н. Тихонова, П. Антокольского, Н. Заболоцкого, Л. Леонова.

Исследуя проблему литературного взаимообогащения в аспекте русско-грузинских связей, прослеживая роль Грузии в творческой биографии вышеназванных писателей, автор показывает на конкретном материале, как Грузия, ее литература, работа над переводами обогатили их творчество.

В свою очередь встреча с этой книгой, выпущенной на русском языке издательством «Мерани» в этом году, обогатит читателей, любящих литературу, свидетельствами творческой дружбы русских и грузинских писателей.

«ВОСПОМИНАНИЯ. ДУМЫ»

ИХ АВТОР — один из основоположников грузинского советского театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии и пре-

мии имени Руставели Акакий Васадзе, чье имя неразрывно связано с историей театра им. Ш. Руставели.

В своей книге «Воспоминания, думы» он повествует о пройденном им большом творческом пути, об участии в спектаклях, поставленных К. Марджанишвили и С. Ахметели.

В этой книге, изданной в минувшем году на грузинском языке Театральным обществом Грузии, через восприятие большого актера переданы и проанализированы многие значительные явления и интересные факты из истории грузинского советского театра.

«ДОМ ПОД ЧИНАРАМИ»

ЭТОТ сборник, выпускаемый на русском языке издательством «Мерани», уже хорошо знаком читателям не только у нас в республике, но и во всем Советском Союзе. В его последний выпуск, датированный 1977 годом, вошли повести «Тбилиси, предвечернее небо» Э. Фейгина и «Громовый гул» М. Лохвицкого, писателей, не раз печатавшихся в «Доме под чинарами» и хорошо известных по их книгам, изданным как в Грузии, так и в Москве.

Наряду с этим здесь печатаются и новые, молодые авторы. Так, читатель найдет в последнем выпуске «Чинар» рассказ М. Гиголова «Сомнение».

Под рубрикой «У нас в гостях» — выступают Е. Евтушенко, М. Синельников...

ТОРЖЕСТВА НА ГРУЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

◆ **ТОРЖЕСТВЕННО** отметил грузинский народ 140-летие со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.

В Тбилиси в Государственном академическом театре имени Ш. Руставели состоялась объединенная юбилейная научная сессия Союза писателей Грузии. Академии наук Грузинской ССР и Тбилисского государственного университета, которая завершилась большим литературно-театральным вечером.

В Литературном музее Грузии имени Г. Леонидзе открылась большая выставка, посвященная жизни и творчеству И. Чавчавадзе.

На следующий день торжества перенесли на родину писателя в Кварели. Здесь у дома-музея Ильи Чавчавадзе собрались многочисленные гости из всех уголков Грузии, из братских республик страны, гости из-за рубежа.

В торжественной обстановке был открыт новый комплекс дома-музея писателя.

Юбилейные празднества в Грузии завершились торжественным вечером, который состоялся в Тбилиси в Большом концертном зале Грузинской филармонии.

Юбилейный вечер открыл Председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР П. Гиладзе. Доклад о жизни и творчестве И. Чавчавадзе сделал председатель правления Союза писателей Грузии Г. Абашидзе.

О бессмертном наследии великого писателя говорили секретарь ЦК КП Армении К. Даллакян, секретарь правления Союза писателей РСФСР Ю. Грибов, секретарь правления Союза писателей Эстонии Л. Ремельгас, итальянский литератор и издатель Д. Рабино, член Королевской академии наук из Басконии (Испания) профессор Ш. Кинтана...

ДНИ ИЛЫ ЧАВЧАВАДЗЕ В МОСКВЕ

◆ **ЗАВЕРШАЮЩИМ** аккордом в юбилейных торжествах, посвященных 140-летию юбилею вы-

дающегося грузинского писателя И. Чавчавадзе, явился вечер, который состоялся в Москве в театре имени Моссовета.

Юбилейный вечер открыл первый секретарь правления Союза писателей СССР Г. Марков.

С докладом о жизни и творчестве писателя выступила секретарь ЦК КП Грузии В. Сирадзе.

Перед собравшимися также выступили секретарь правления Союза писателей СССР О. Шестинский, украинский поэт В. Коротич, секретарь правления Союза писателей Армении В. Петросян, азербайджанский поэт Г. Ариф.

В заключение вечера состоялся большой концерт мастеров искусств Грузии.

ЗВУЧАТ СТИХИ ГРУЗИИ

◆ **В МОСКВЕ** в Центральном Доме литераторов имени А. А. Фадеева состоялся вечер грузинской поэзии, посвященный 140-летию юбилею Ильи Чавчавадзе.

И снова зазвучали вдохновенные стихи поэта. Перед собравшимися с чтением своих стихов выступили Г. Абашидзе, Х. Гагуа, А. Гомишвили, М. Кахидзе, К. Каладзе, М. Квливидзе, Р. Маргиани, И. Нонешвили, Дж. Чарквиани.

На вечере также выступили известные переводчики грузинской поэзии Б. Ахмадулина, Н. Гребнев, Р. Казакова, А. Межиров, Ю. Ряшенцев, В. Солоухин, М. Сильников...

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ ПУШКИНА

◆ **СТАЛО** уже доброй традицией ежегодно в день рождения А. С. Пушкина проводить в Тбилиси вечер его поэзии. Щедрая грузинская земля не раз вдохновляла великого поэта на создание замечательных произведений, некоторые из которых поэт посвятил Грузии.

В Тбилиси, в Музее искусств Грузии, состоялся вечер поэзии А. С. Пушкина, посвященный 179-й годовщине со дня его рождения.



04.035320
02.03.01.03.13

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА

АБАШИДЗЕ Григол Григорьевич. Род. в 1913 г. Грузинский советский писатель. Герой Социалистического Труда, председатель правления Союза писателей Грузии. Печатается с 1934 года.

Автор многочисленных сборников стихов, поэм, романов. Произведения его переведены на языки народов СССР, изданы за рубежом.

ГУГУШВИЛИ Этери Николаевна. Доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР и Абхазской АССР, лауреат премии имени К. Марджанишвили, ректор Тбилисского государственного театрального института имени Ш. Руставели. Автор многих научных трудов и статей по театру.

ДЖАЛАГОНИЯ Нодар Домейтеевич. Род. в 1937 г. Грузинский советский поэт. Выпускник Высших литературных курсов при Институте литературы им. М. Горького. Печатается с 1951 года. Автор ряда сборников стихов.

КАНКАВА Гурам Исавич. Родился в 1928 г., кандидат филологических наук. Литературовед и критик. Автор литературно-критических статей, вошедших в изданные на грузинском языке книги «Литературные этю-

ды» и «Литературные заметки», а также монографии «Исторический роман и его грузинские традиции».

ОСИНСКИЙ Владимир Валерианович. Род. в 1932 г. Печататься начал в 1952 г. Автор произведений, опубликованных в республиканских и союзных периодических изданиях и сборниках. Переводился на японский и венгерский языки. В 1975 г. вышла его книга фантастических рассказов и повестей «Что там?».

ЧХЕНКЕЛИ Тамаз Васильевич. Род. в 1927 г. Кандидат филологических наук. Автор монографии о Р. Тагоре, книг «Трагические маски», «Поэзия — род мудрости», сборников литературно-критических статей и многочисленных публикаций и переводов.

ЦИЦИШВИЛИ Георгий Шалвович. Род. в 1921 г. Критик и литературовед, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института истории грузинской литературы имени Шота Руставели АН Грузинской ССР. Автор монографий о грузинских писателях и взаимосвязях грузинской и русской литератур, трудов по теории литературы, истории грузинской драматургии, теории грузинского советского театра.

Сдано в набор 30 мая 1978 г. Подписано к печати 10 июля 1978 года. 6 печ. листов, усл. листов 10,08. Формат бумаги

84×108¹/₃₂

Заказ № 1586

Тираж 7.000

УЭ 01652

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ ՍԵՆՏՐԱԿ

№ 401

Գրքացուցիչ 1978

2-VIII օր

— * —

6-28

78-40A

საქართველოს
ბიბლიოთეკების

Цена 40 коп.

ИНДЕКС 76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა